# ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ*)

Предлагаемая книга представляет собой почти неизмененное переиздание ротаторных тетрадей, выпущенных в 1949, 1950 и 1952 годах.**) Это серия очерков, описывающих ту или иную сторону советской действительности. Работа над нею была начата мною совместно с Н. И. Осиповым и С. А. Левицким летом 1947 года, когда впервые открылась возможность изучения и оценки огромного материала, появившегося в несоветском мире в результате немецкой оккупации значительной части СССР и последовавшей за ней волной так называемой «новой эмиграции»...

«Очерки» написаны в итоге работы нескольких человек, но исходя из единого жизнеощущения, из общего всем им опыта и на основе единого метода...

С особой благодарностью хочется отметить в этом плане сотрудничество Н. И. Осипова и Л. Т. Осиповой в обсуждении и разработке как замысла «Очерков» так и всех затрагиваемых в них проблем... С благодарностью должен отметить также чрезвычайно ценное для меня сотрудничество С. В. Утехина и Н. Е. Андреева в разработке методологических вопросов, С. А. Левицкого и Н. И. Осипова в очерке «Мифы и фикции», Л. Д. Ржевского и Н. И. Осипова в очерке «Советский язык», С. А. Левицкого в очерке «Нравственный облик большевизма»,

---

*) Р. Н. Редлих «Очерки большевизмоведения», «Посев», 1956. 304 стр.

**) Курс большевизмоведения. Составлен Р. Н. Редлихом и Н. И. Осиповым. Выпуск 1. — Лимбург-на-Лане, «Посев», 1949. 158 стр.

Очерки большевизмоведения. Выпуск 2. — Лимбург-на-Лане, «Посев», 1950. 136 стр.

Очерки большевизмоведения. Выпуск 3. — Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1952. 188 стр.

Н. И. Осипова и Л. Д. Ржевского в очерке «Советский человек» и С. В. Утехина и Н. И. Осипова в «Советском обществе».

Без этих моих соавторов, безоговорочно и безвозмездно предоставивших в мое распоряжение не только свои мысли, но и ряд текстов, настоящее издание было бы просто немыслимо.

Хочется поблагодарить здесь, однако, и другую, гораздо более многочисленную категорию наших общих соавторов, всех тех кто делился с нами своим опытом и оценками советской жизни. Перечислить их имена, разумеется, невозможно, но у них есть, пусть условное, но общее имя «новая» или «вторая» эмиграция. Без нее эта книга тоже была бы немыслима...

Франкфурт-на-Майне, 1955

# ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Со времени первой публикации мыслей, изложенных в предлагаемой книге прошло двадцать лет. Со времени первого типографского издания — пятнадцать. Умер И. В. Сталин, прошли кампании «борьбы с культом личности И. В. Сталина и его последствиями» и «восстановления исторической правды о личности И. В. Сталина». В результате первой — прах великого Хозяина был удален из Мавзолея; в результате второй — на его могиле у Кремлевской стены воздвигнута решетка и установлен бюст-памятник.

Изменилось и много, и ничего. И приступая к новому переизданию, мне показалось разумным разделить «Очерки большевизмоведения» на две книги: в первой, под заглавием «Сталинщина как духовный феномен», объединить очерки «Сталинские мифы и фикции», «Советский язык», «Нравственный облик большевизма» и «Советский человек»; во второй попытаться обрисовать превращение бывшей сталинской знати в господствующий класс современного советского общества, озаглавив ее «Советское общество». Первая книга, описывающая духовную субстанцию сталинщины, потребовала лишь непринципиальных поправок, сделанных почти без оглядки на сегодняшний день. В описанном в ней виде сталинизм принадлежит истории, и настоящее стало прошлым. В книгу «Советское общество», напротив, внесены существенные дополнения, цель которых уловить тенденции послесталинского развития и, исходя из прошлого, бросить взгляд в будущее.

Издание в виде двух отдельных книжек карманного формата продиктовано желанием с большим удобством донести наш анализ до современного российского читателя. Его и только его я имел все время в виду, внося те или иные изменения и дополнения в первоначальный текст «Очерков».

Париж, 1970

# ВВЕДЕНИЕ

## *Источники знания о советской действительности. Методологические предпосылки нашей работы. Аксиологический метод.*

Эпоха Сталина столь близкое прошлое, что для изучения ее, наряду с привычным историку письменным материалом, можно обратиться к живым свидетелям. Делая это в ходе работы над очерками, мы, разумеется, отдавали себе отчет в субъективности всякого очевидца. К счастью, однако, в конце сороковых и начале пятидесятых годов, когда выраба́тывались основные концепции очерков, мы были окружены не только живыми свидетелями тогда еще даже не прошлой эпохи. В своем исследовании мы могли опираться и на анализ предметов материальной культуры, на язык того времени, на фольклор, на различные документы и акты, на личные письма и иные записи личного и делового характера, словом на целый ряд источников, данные которых, — если они получены в результате методологически правильной их обработки, — научно бесспорны.

Сравнение данных этих источников с тем, что рассказывают о советской жизни официальные публикации, сразу же позволяет с полной очевидностью установить в последних факт систематической и целеустремленной фальсификации.

Уже предметы материальной культуры Советского Союза, особенно если сравнить их с аналогичными изделиями дореволюционной России или современной Европы, без труда позволяют установить,

что высказывания советских авторов о качестве, стиле, цене и всех прочих свойствах советских товаров рисуют их куда более распространенными, более дешевыми и более удобными в употреблении, чем они есть. Постоянные, гипнотизирующие читателя повторения советской печати о «бурном росте благосостояния широких трудящихся масс» и о «счастливой и зажиточной жизни» в СССР оказываются в прямом и совершенно очевидном противоречии с данными, получаемыми из непосредственного изучения первоисточника — самих предметов благосостояния. Факт и, что еще важнее, чрезвычайное постоянство, хочется сказать «настойчивость» этого противоречия, исключающая в нем элемент случайности, будучи однажды установленным, становится в силу своей бесспорной научной достоверности, методологическим критерием для оценки советских высказываний об СССР, по меньшей мере в области быта и техники.

К аналогичным выводам приводят исследователя и наблюдения за развитием языка сталинского периода. Значение таких слов как «агитировать», «добровольно», «законность» в советском словоупотреблении совершенно ясно показывает, что мы имеем дело с миром иных понятий, чем дореволюционная Россия или современная Европа, а следовательно и с миром иной действительности. Сравнение же семантического содержания многих выражений и оборотов в бытовом и официальном советском языке подтверждает со своей стороны то, что дает и сравнение предметов материальной культуры с их описанием у советских авторов: в СССР существуют два мира — мир действительный и мир кажущийся, мир подлинной советской действительности и мир ее официального описания.

Нетрудно раскрыть ту же самую закономерность в соотношении данных мемуарной литературы, и прямого наблюдения, с одной стороны, и описаний советской действительности, сделанных по заданию партии и правительства — с другой. Изучение достаточно богатого мемуарного материала, наблюдение за поведением советских людей и непредвзятый опрос их с несомненностью показывают, что советские люди вовсе не таковы, какими они описываются, что между образом преданного советскому строю, бодрого, жизнерадостного и готового пожертвовать собой во имя коммунистических идеалов положительного героя советской литературы и действительными убеждениями и поведением советского гражданина дистанция огромного размера и совершенно определенного характера.

Разрыв между советской действительностью и официальным описанием ее очевиден из сравнительного рассмотрения любых источников. Будучи последовательно проведенным, это сравнение дает безусловное основание для определения, когда и каким образом описание искажает действительность. И если в создаваемых по воле советской власти источниках действительность отражается как бы в кривом зеркале, то сравнение этого отображения с отражением, пусть даже неполным, но полученным из независящих от этой воли источников, позволяет определить «радиус кривизны» этого «зеркала», т. е. найти методический ключ для оценки и использования также и кривого изображения.

*Различение между миром* советской *действительности и его описанием* большевиками *есть фундаментальная методологическая предпосылка, а анализ взаимоотношения между тем и другим — важнейшая задача исследования,* отдающего себе отчет в

источниках добываемых знаний. Пренебрежение этим анализом делает невозможной четкую отработку основных понятий, характеризующих природу сталинской власти, влечет исследователя по пути неосновательного доверия к коммунистической фразеологии и приводит лишь к наукообразному оформлению ходячих мнений-мифов, коренящихся в неумении осознать принципиальные отличия сталинизма от других политических явлений как прошлого, так и современности и в неосознанной уверенности в том, что, так или иначе, жизнь в Советском Союзе сводится к комбинациям элементов прежней русской и современной европейской жизни.

Думается, что именно этой уверенностью объясняется пренебрежение многих авторов как систематической критикой источников, так и выработкой терминологии. Термины «социализм», «коммунизм», «класс», «демократия», «прогресс», «реформы», «советский», «русский» и многие другие употребляются в самых фантастических сочетаниях и смешиваются самым неожиданным образом. В советском словоупотреблении, напротив, они используются с большой точностью, хоть далеко не всегда в согласии с их словарным значением. *Последовательное и систематическое изучение партийной терминологии и фразеологии и раскрытие на ее основе характерных особенностей советской жизни, несомненно, должно рассматриваться, как одна из важнейших предпосылок и существеннейших задач исследования.*

Как в создании собственной терминологии, так и в анализе наиболее характерных для современной литературы терминологических промахов и перемешиваний понятий мы, разумеется, не могли пойти дальше самых элементарных основ. Но даже и

этих основ оказалось достаточно, чтобы установить по меньшей мере, чем сталинизм *не* является, и сделать несколько дальнейших методологических выводов, которыми мы также воспользовались в нашей работе. Остановимся лишь на нескольких методологически наиболее поучительных заблуждениях.

Прежде всего, здесь проявляется некритическое стремление оценивать формы выражения духовной жизни сталинского периода точно так же, как царской России или любой другой некоммунистической страны. Авторы, совершающие эту ошибку, естественно оказываются в плену многочисленных и легко доступных официальных источников и не склонны особенно проверять их на базе других, несравненно более бедных и трудно доступных. Они не видят принципиальной разницы между сведениями, публикуемыми в какой-нибудь английской или немецкой газете и утверждениями советской печати.

Вопрос о происхождении и значении ясно видимого из сравнения источников несоотвествия советской действительности ее описанию не стоит перед этой категорией исследователей. Официальные утверждения партии и правительства принимаются ими на веру, а если разрыв между словом и делом в СССР и не проходит для них вполне незамеченным, то поправки к советским источникам вносятся лишь от случая к случаю, в порядке методологически непродуманных оговорок. Соотношение между реальными отношениями страны и власти и описанием этих взаимоотношений самой властью, предполагается ими аналогичным тому, которое имеет место в системе европейской культуры. Основная черта советского строя, разрыв между «базисом» и «надстройкой», между отраженной в предметах материальной культуры, языке, деловых документах

и свидетельствах очевидцев действительностью и ее изображением в коммунистической теории и пропаганде представляется им явлением несущественным и не достойным специального анализа. В результате мысль их оказывается не в состоянии выпутаться из лабиринта коммунистических мифов и фикций и пускается в безнадежное странствование по нему, не раэличая «самого демократического в мире строя» ни от демократии, ни от диктатуры, а «бурного роста благосостояния широких трудящихся масс» от «трудностей роста» и нищеты совершенно явной и несомненной.

Культуру, аналогичную европейской, по молчаливому убеждению этой категории исследователей, следует объяснять, пользуясь европейской терминологией, сталинизм рассматривать как «демократизм особого типа», как «радикальное социальное реформаторство» или как «государственный капитализм»; изменения в хозяйственной и социальной жизни, как «прогресс» или «эволюцию», а советских людей как поставленных в несколько измененные социально-политические условия датчан или голландцев. Всё, происходящее в СССР, при таком подходе рисуется как попытка реформировать огромную страну, создать в ней мощную промышленность или по-новому подвести народ к участию в государственной жизни.

Смешение понятий «большевизм», «коммунизм», «демократизм», «социализм», «советская власть», «государственный капитализм», «социальное реформаторство» есть, нам кажется, однако, не только плод излишнего доверия к источникам и печального терминологического заблуждения. Он прежде всего результат некритической веры в существование неких неизменных социально-политических по-

ложений, выражаемых понятиями неизменно сохраняющими один и тот же смысл. Работы этого типа грешат против основного методологического требования современного историзма: мерить каждое историческое явление его собственной мерой и выражать его по возможности в его собственных понятиях. *Признание безусловного своеобразия сталинской эпохи, стремление понять основные ее отличия от любых других явлений прошлого и современности и выработка способной выразить это своеобразие терминологии суть безусловные требования научного исследования советской действительности.*

Против этого требования грешат, однако, не только те, кто, идя по пути своего рода «вульгарного социологизма» смешивают сталинизм с радикальным социальным реформаторством. Непростительна и ошибка других авторов, которые, независимо от их умения обращаться с источниками, впадают в «вульгарный историзм» и рассматривают советский период как прямолинейное развитие русской истории, а сталинизм как естественное порождение русского духа.

Авторы этого типа обычно строят свои книги на историческом материале. Вместе с тем особенности советской эпохи ими отнюдь не улавливаются, а понятия «СССР», «Россия», «советский», «коммунистический», «русский» употребляются чуть ли не как однозначные.

Это смешение понятий, как, впрочем, и только что рассмотренное, есть результат не только пренебрежения к критике источников и недостаточного внимания к терминологии, но прежде всего увлечения категорией сходства в описании социально-исторических явлений. В основе концепций, порождаемых этим увлечением, лежит предположение,

будто настоящее полностью детерминировано прошлым, но не всем прошлым, а лишь отдельными его элементами. Определение этих элементов производится на основании сравнения прошлого с настоящим и выделения из того и другого сходных явлений, которые, именно в силу этого сходства, и принимаются за характерные и существенные. Масштабом исторической значимости при таком подходе становится степень сходства. Сходные явления расцениваются как основные и первичные, несходные отбрасываются как вторичные и несущественные. Внимание приковывается к элементам сходства, оно как бы заворожено категорией сходства. При анализе любого явления или события, такой исследователь прежде всего принимается в историческом материале выискивать сходные явления и события и, если ему (что почти всегда случается) удается обнаружить те или иные элементы сходства, поспешно объявляет их характернейшими чертами, если не первого, то уж, во всяком случае, второго по времени явления. Несходное отбрасывается при этом прочь, как несущественное.

Не научный анализ, а предвзятая вера в то, что советская власть есть продукт российского исторического развития и ничего больше, мешает исследователю усмотреть глубокий перелом, внесенный в Россию Октябрьским переворотом и то сопротивление, на которое наткнулась в ней коммунистическая идея.

Между тем, как раз это сопротивление, этот конфликт между большевизмом и Россией (понимая здесь под словом «Россия» геополитическое, этническое и духовное месторазвитие большевизма) есть, однако, совершенно очевидный факт, который легко усмотреть из любых источников нашего знания о

любом периоде советской действительности. При Сталине он обозначался как «обострение классовой борьбы». *Усмотрение его есть безусловно необходимая методологическая предпосылка, а анализ характера, форм и тенденций его развития — необходимейшая и, вероятно, важнейшая задача исследования.*

Еще одной фундаментальной методологической ошибкой в изучении советской действительности является убеждение в том, что строительство коммунизма в СССР есть социально-политический эксперимент, смелая попытка создания новых, более совершенных форм человеческого общежития, от которых КПСС, в случае окончательной неудачи, способна отказаться.

Взгляд на коммунистическое строительство как на эксперимент, отождествление коммунизма с социальным экспериментаторством в основе своей свободно от методологических ошибок, рассмотренных нами выше. Оно не только не считает период советской власти прямолинейным развитием процесса русской истории, но отчетливо видит противоборство, в котором партийное руководство находится с российской стихией. Именно из факта этого противоборства оно склонно, однако, сделать вывод о неизбежной неудаче «эксперимента», о постоянном отступлении власти перед желаниями народа и требованиями жизни и, следовательно, об «эволюции», «конвергенции» и возвращении страны в русло «нормального развития».

Убеждение в том, что строительство коммунизма в СССР есть лишь грандиозный эксперимент, отнюдь не всегда закрывает исследователю глаза на конфликт сталинизма с его месторазвитием и на важнейшие противоречия между словом и делом в

практике советской власти. Оно вовсе не обязательно влечет за собою убеждение в ценности реформ, произведенных коммунистами в России, и отнюдь не берет на веру все достижения, о которых они заявляют. Но оно полностью сливается с разобранными выше направлениями в другом фундаментальном предположении: в непоколебимой уверенности, что коммунисты суть люди доброй воли, желающие осчастливить человечество, и что именно поэтому они будут рано или поздно вынуждены отказаться от своего неудавшегося эксперимента.

Направленность коммунизма к добру, особенно в сталинской его редакции, не есть, однако, нечто само собой разумеющееся. Оно не явствует ни из коммунистической теории, утверждающей производный характер нравственных ценностей, ни из практических мероприятий советской власти. И, независимо от субъективных стремлений и чувств отдельных членов коммунистических партий, объективная устремленность коммунизма к добру должна быть взята под методологическое сомнение. *Отказ* от *предположения, что деятельность Сталина имела своей конечной целью усовершенствование и счастье людей, есть, с нашей точки зрения, непременное методологическое требование объективной оценки сталинского периода русской истории,* а возможные ответы на вопрос «что же тогда было этой целью?» могут лечь в основу гипотез, плодотворность которых должна быть проверена исследовательской практикой.

Разумеется, изучение советской действительности отличается от занятий классической историей. Даже и сейчас, выпуская наш очерк вторым изданием, мы отчетливо сознаем, что описываем неизжитую еще эпоху, которая и сегодня еще может быть объ-

ектом непосредственного наблюдения и полем приложения методических приемов наук, занимающихся исследованием современной социальной действительности. Только крайняя ограниченность наших технических и материальных возможностей не позволила нам воспользоваться многими плодотворными и точными, но сложными и дорогостоящими методами современной социологии и психологии, превосходно разработанными приемами выборочного изучения (sampling) и анализа примеров (case study), прибегнуть к методам статистического анализа (кстати могущего дать очень много в изучении как раз фиктивной стороны советской жизни) и проверить наши построения при помощи психологического эксперимента. Тем более добросовестно мы старались придерживаться требований критического анализа материала и в полной мере применять сравнительный метод в том виде, в каком он разработан в современной исторической науке.

Мы не стремились установить в наших очерках, когда именно началась так называемая «эпоха культа», и когда она кончилась. Рубежи исторических периодов условны. Ставя себе задачу описать феномен сталинизма, мы ясно отдавали себе отчет, что многие стороны этого явления можно найти уже у Маркса и Энгельса. Но их можно найти и сейчас. Они сказываются и сегодня в каждом мероприятии советской власти и в каждой реакции советского народа. Они будут сказываться еще долго, и, оценивая то или иное явление окружающей его жизни, русский человек еще долго будет пользоваться как своеобразным масштабом определениями «как при Сталине» или «не как при Сталине». Не все, но многое из сказанного здесь относится еще к настоящему, и наше описание, сделанное для первого изда-

ния еще при жизни Сталина, мы решились оставить в настоящем времени, не смущаясь тем, что четырехчленная формула «Маркс - Энгельс - Ленин - Сталин» ныне снова стала трехчленной.

Тем не менее дух историософской интерпретации — признание неповторимой специфичности изучаемого культурно-исторического феномена и его принципиальной отличности от любого другого — положен в основу нашей работы. Необходимые же для этой интерпретации *специальные понятия и термины мы стремились выработать на основе категорий смысла, цели и ценности и отношения к ним главных исторических деятелей эпохи,* советской власти и советского народа.

Важнейшими для нас оказались понятия «мифа» и «фикции», раскрытие которых мы сочли необходимым произвести в первом же нашем очерке, поместив его, даже в нарушение классической строгости, прежде очерка о советском языке. В дальнейшем изложении нам понадобились еще специфические понятия «активной несвободы», «сознательности» и «стратегического мышления» для характеристики душевной жизни советского человека и понятия «руководящей верхушки», «советской знати», «актива» и «антисоветского элемента» или «внутренней эмиграции» в описании социальной структуры сталинского времени. В основном мы старались пользоваться советской терминологией, используя, понятно, не только экзотерический официальный, но и скрытый эзотерический смысл употребляемых слов и выражений, составляющий как раз характерную особенность советского словоупотребления.

Методологическое своеобразие наших очерков лежит, как нам кажется, в рассмотрении явлений ду-

ховного и душевного порядка, прежде всего, в их соотнесенности с теми или иными ценностями, в применении того, что можно было бы назвать «*аксиологическим методом*». *Анализ природы сталинизма с точки зрения его отношения к ценностям* составляет *методологический фундамент* предлагаемого труда. И если можно говорить здесь об определенном направлении мысли, его, соответственно этому, можно назвать «аксиологическим».

# Часть первая

# Сталинские мифы и фикции

# *Глава 1*

## УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЛЬШЕВИСТСКОЙ ДОГМАТИКИ

*Существует ли коммунистическая религия? Наукообразная и верообразная стороны коммунистической теории. — Ленинский догмат «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» как основа сталинского фикционализма.*

Стоит взять в руки любую советскую газету, присутствовать на любом собрании, принять участие в любой кампании, чтобы тотчас же окунуться в однообразный, хотя и пестрый мир верообразных «убеждений», венчаемых своего рода культом Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Поверхностный наблюдатель, особенно если он не принадлежит к советскому миру, склонен принимать эти явления за своего рода коммунистическую религию. Внешнее сходство с религией действительно поражает. Красные уголки с непременными бюстами вождей, непогрешимые писания «классиков марксизма», «заветы Ильича» и непрестанные славословия Сталину, сопровождаемые неизменно «бурными, долго не смолкающими овациями», все это позволяет говорить о «культе», перенося оценку этого явления в плоскость религиозного творчества.

Считать, что мировое коммунистическое движение есть движение религиозное, все же глубокая ошибка. Ни фанатизм немногих убежденных коммунистов, ни догматизм коммунистической теории, ни сосредоточение всех добродетелей вокруг имен Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина не делает его таким. Больше того: коммунизм всегда был и будет

враждебен религии. Достаточно сравнить принципиальные основы всякой религии с принципиальными основами коммунизма, чтобы убедиться в этом. Достаточно вспомнить, что всякое религиозное чувство даже самое примитивное, есть всегда ощущение «мира иного». Для всякой религии мир, в котором мы живем, не единственный существующий. Для всякой религии, кроме нашего земного «здесь» есть еще и потустороннее «там», элементы которого, проникая в наше существование, расширяют и углубляют его. Всякий религиозный человек непременно чувствует соловьевское:

Милый друг, иль ты не знаешь,
Что все видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами...

Марксист этого не чувствует. Коммунистическая теория и практика утверждает иное: кроме нашего мира нет и не может быть никакого другого. Этот мир конечен, прост в своих основаниях, до конца понят Марксом-Энгельсом-Лениным-Сталиным. Этот мир есть, с одной стороны, результат стихийной эволюции природы, частью которой является и человек, с другой стороны, — он есть объект для планирования и проведения в жизнь «социалистического строительства».

Теория современного коммунизма покоится на двух, исключающих одно другое утверждениях:

1. Мир состоит из материи, как из единого начала, рядом с которым нет никакого другого (материалистический монизм). Он развивается на основе закона причинности (детерминизм). Он познаваем не только в принципе, но и во всех мельчайших деталях (гностицизм). Кроме этого мира решительно ничего нет и быть не может. Человек только часть его, подчиненная всем его законам. Бытие человека вполне и односторонне определяет его сознание, которое есть лишь надстройка над бытием, лишь

функция физиологических процессов в коре головного мозга, лишь отражение физического бытия. Всякого рода метафизика, мистика, религия суть проявления классового сознания. Человек ни в чем и нигде не властен. Его свобода есть не более, как «осознанная необходимость». В своей подчиненности мировым законам природы человек ничем не отличается от любого атома, молекулы, камня, пчелы, муравья, обезьяны.

В этой своей части коммунистическая теория, называемая громким именем «диалектического материализма», наукообразна, особенно в глазах людей, плохо знакомых с современным состоянием науки. Это наукообразие используется коммунистами, чтобы говорить о марксизме, как о «научной теории социализма», с легким презрением противопоставляя его «ненаучному» или «утопическому» пониманию социализма, как до Маркса (Томас Мор, Кампанелла, Фурье, Сен-Симон), так и после Маркса (русские эсеры, лассальянцы, английские лейбористы).

С этой стороной коммунистической теории религиеобразная сторона советской жизни почти не связана. Так же, как и для революционного марксизма, она составляет лишь тот наукообразный фон, на котором развивается другая — догматическая, верообразная ее сторона. Ибо первым и основным догматом коммунизма является утверждение «научности», точнее абсолютной истинности марксистской теории. Этот догмат выдвинут впервые Лениным в пылу полемики с ревизионистами и классически сформулирован им затем в его статье «Три источника и три составных части марксизма»: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Всесилие марксистской доктрины основывается у Ленина на вере, что наука способна разрешить все проблемы мироздания, а так как Маркс и Энгельс создали теорию, оказавшуюся не просто последним словом современной им науки, но и последним сло-

вом науки вообще, то и учение их следует рассматривать как абсолютную, «верную», а потому всесильную истину, не нуждающуюся уже ни в каких поправках, а только в углублении и развитии.

Наивная дерзость установления этого догмата не имеет равных в истории человеческой мысли. На пороге XX века она означает установление над богопустынным имперсоналистическим марксовым миром сквозной каузальной детерминации другого, как раз страстно отрицаемого ленинским сознанием фидеистического мира безусловной веры и догмата, больше того, возведение в ранг абсолютной истины теории, враждебной самому понятию Абсолютного.

Этот ленинский догмат, как мы увидим ниже, и лег в основу культа Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, ибо он поднял поначалу только первых двух, в то время уже умерших основоположников современного коммунизма на сверхчеловеческую высоту. Ленину, а за ним и Сталину, было суждено последовать за ними. Логическое противоречие, в которое, приняв ленинский догмат, их доктрина вступила как раз с научными претензиями классического марксизма, никогда не смущало коммунистов. Не смущало потому, что оно находится в неразрывной связи с другой, эмоционально-волевой стороной того же марксизма. К этой стороне мы теперь и обратимся.

2. Мир, в котором мы живем, есть мир угнетения и несправедливости. Это мир «классовой борьбы», в котором само государство есть не что иное, как орудие, при помощи которого господствующий класс эксплуатирует и угнетает все остальные классы. На основе законов мировой эволюции, однако, на арену истории уже выступил новый, доселе невиданный класс-мессия, пролетариат, который в интересах абсолютного большинства человечества непременно должен совершить великую Мировую Революцию. Эта Революция явится «скачком из царства необ-

ходимости в царство свободы». Скачок же этот означает революционное преображение всей земной жизни: «Прекращается работа, обусловленная нуждой и внешней необходимостью», все «трудятся по способностям, а получают по потребностям», «отмирает» государство, поглощаемое «бесклассовым» обществом людей, потерявших все свои «классовые», эгоистические, эксплуататорские инстинкты и ставших «вполне родовыми существами». Мировая история классовой борьбы прекращается, и весь пафос освобожденного человечества обращается исключительно на дальнейшее овладение природой («Коммунистический манифест»).

Великий защитник свободы человека, провидец большевистской революции — Достоевский с ненавистью именовал эту утопическую картину «муравейником», «хрустальным дворцом», «многоэтажным домом с квартирами для бедных жильцов» и противопоставлял этому дому свой индивидуальный «курятник», своего «джентльмена с ретроградной и насмешливой физиогномией», которому непременно, непременно хочется тарарахнуть по хрустальному дворцу и «по своей, по глупой воле пожить». («Записки из подполья»).

Научный социализм венчается утопией преображения всей ненавистной сознанию революционера земной действительности, на месте которой, с «научно-обоснованной» исторической неизбежностью, автоматически должен возникнуть своего рода земной рай, коммунистическое общество всеобщего и бесконечного блаженства.

В этом плане уже первоначальный марксизм, а за ним и современный сталинизм, является тем, чем он в своей «научности» ни за что не соглашался стать. Он принимает в себя элемент религиозной веры. Он принимает, кроме сейчас существующего, еще и иное, лучшее бытие. Он становится в е р о о б р а з е н.

Научные элементы марксизма, стремящиеся ав-

томатически вывести грядущее торжество социализма из материалистической философии и эволюционной теории, сами по себе отнюдь не исключают веры в то, что это торжество действительно грядет; напротив, они скорее способствуют укреплению этой веры. Уже Энгельсу удалось перекинуть здесь достаточное число более или менее устойчивых логических мостов. Противоборство между наукообразной и верообразной сторонами марксизма, между эволюционным и революционным его аспектами, начинается в области выводов из этих положений. Оно определяет то решение взаимоотношений между теорией и практикой, о котором Маркс и Энгельс, вероятно, еще не задумывались и которое составляет самую душу современного коммунизма. Это решение делает детерминистическую марксистскую теорию чистейшей фикцией, находящейся в совершенно необычном, но весьма полезном соотношении с волюнтаристической практикой коммунизма.

В основе коммунистической теории лежит материализм, монизм, детерминизм и гностицизм, претендующие быть основами всякой науки. В практике, напротив, уже у Ленина на первый план выступает волюнтаризм, рождаемый страстным желанием поскорее достичь поставленной цели, построить социализм, найти наиболее «слабое звено в цепи капиталистических государств» и «прорвать» эту цепь целеустремленным волевым усилием. Призывающая, казалось бы, к спокойному бездействию детерминистическая эволюционная теория, отрицающая самостоятельную роль человека в истории, рождает волюнтаристическую практику, в которой руководящую роль играет целеустремленный план и во главе которой стоит человек, претендующий творить мировую историю.

Человеком, стоящим над теорией и над практикой и предписывающим миру его законы, стал Сталин. Он тот, для кого была недействительна никакая теория, кто сам творил и теорию и практику, кто за-

нимал поэтому совсем особое положение среди прочих человеческих существ, положение, которое весьма точно выражается термином Достоевского: «человекобог».

Мироощущение, лежащее в основе коммунистической практики только косвенно и по частям выражено в теоретических построениях, не только потому, что едва ли сам Сталин отдавал себе в нем ясный отчет и что в обнаженном виде оно вызвало бы гораздо более резкое отталкивание в каждом соприкасающемся с ним человеке, но еще и потому, что оно *эзотерично по самой своей природе и не нуждается в словесном выражении.* Оно исходит из абсолютизации власти как высшей цели и ценности, которую можно реализовать только путем насилия. Из марксова наследия здесь приемлется прежде всего:

— Отношение к миру, как к конечному, абсолютно познаваемому, существующему на основе «железного» закона развития, детерминированному во всех своих проявлениях и подлежащему поэтому жесткому планированию.

— Отношение к человеку, как к существу, не имеющему своей воли и подлежащему определению извне. Человек, даже с большой буквы, для марксистов отнюдь не самоценное и самодовлеющее существо. Он часть природного мира, не более.

— Отношение к «сознанию», как к «надстройке, определяемой классовыми интересами». Отсюда всякие проявления духовного творчества суть «оружие в классовой борьбе» и имеют лишь служебное значение. Всякая теория — своего рода условность, этикет, церемониал, фикция. Сама теория классовой борьбы, да и вся марксистская теория для советского человека, включая и самого Сталина, — этикет, церемониал, фикция. Искренняя вера в нее уже в тридцатых годах стала анахронизмом.

Вершина коммунистической теории — учение о преображенном коммунистическом мире. Смысл

большевистской практики — абсолютное властвование над абсолютно материальным и конечным (если не в своей пространственной протяженности, то в однородности и в конечном числе господствующих в нем законов), абсолютно детерминированным и абсолютно познаваемым миром. Это властвование (по необходимости, ибо иначе оно не будет абсолютным) осуществляется единой человеческой волей. Носитель этой воли, естественно, стоит неизмеримо выше всех остальных существ, ибо для него недействительны все «законы», открытые марксистской «наукой». Им хотел стать уже Ленин, и культ вождя коммунизма начался именно с него.

Основателем большевистской догматики, человеком, который превратил марксизм из политической доктрины в доктрину псевдорелигиозную, был не Сталин, а Ленин. Ибо именно он установил в среде своих последователей, — потому что такие положения устанавливаются, а не доказываются, — что Маркс и Энгельс непогрешимы, а каждая мысль их абсолютно правильна и подлежит только истолкованию, но ни в коем случае не пересмотру по существу. Создатели марксизма превратились при таком подходе из просто гениальных людей в существа, одаренные сверхчеловеческим свойством — абсолютной мудростью; из людей, которых можно уважать и любить, в существа, которым нельзя не поклоняться. Первым шагом ко введению догматического и культового начал было именно это установление.

Из марксо-энгельсовского релятивизма, единственной серьезной философской основы исторического материализма, вырос догмат об абсолютной истине и открывших её абсолютно мудрых её апостолах. *Ленин стал основателем догматической надстройки, подчинившей себе самоё марксистскую теорию* и положивший резкую грань между большевиками и мировой социал-демократией.

Если в недрах учения Маркса и Энгельса и заложено немало догматических тенденций, если уже в нем можно открыть ряд противоречий между науко-

образной и верообразной его сторонами (что превосходно сделано еще до революции, например, П. И. Новгородцевым в его книге «Об общественном идеале»), то в нем всё же не содержится ни одного откровенного догмата. Утверждение непогрешимости марксизма есть важнейшее из новшеств, внесенных Лениным в коммунистическую теорию. Только в свете этого утверждения можно по-настоящему понять глубокое духовное отличие ленинизма и сталинизма от классического марксизма, отличие, означающее не просто акцентирование волюнтаристических и догматических элементов у Маркса и Энгельса, но гораздо больше — превращение всей их теории в целесообразную фикцию, укрепленную не менее целесообразной и не менее фиктивной догматикой.

В отличие от социал-демократии XIX века, коммунизм в лице Ленина из всей марксистской теории до конца и всерьез принял только одно положение: теория существует для нужд практики, она создается ради практики, она обслуживает практику, она есть «оружие в классовой борьбе», средство для достижения цели. Был ли Ленин довольно проницателен, чтобы понимать, что такая «теория» имеет весьма мало общего с истиной, а тем более с истиной несомненной, или он сам поверил в непогрешимость своего догмата, в конце концов, безразлично. Он, конечно, хорошо понимал, что о возможных здесь сомнениях ни в коем случае нельзя говорить, так как это может свести на нет как раз практическую эффективность «теории». И он научился сам и научил своих последователей говорить о ней так, как если бы они фанатически её исповедовали, предоставив тем из них, кто способен понять, что у коммунизма по существу нет никакой теории, а есть лишь обслуживающие практику теориеобразные положения, понимать это исключительно про себя.

Кричащие логические противоречия, как внутри самой марксистской доктрины, так и в отношениях ее к выдвинутому Лениным догматическому постулату, «преодолеваются», вернее более или менее убедительно прикрываются, применением так называе-

мого «диалектического метода», дополняемого в случае надобности учением о «мобилизующей и преобразующей роли идей», об «обратном воздействии надстройки на базис» и превращением антагонистических противоречий в «неантагонистические». Схоластические фигуры, употребляемые при этом, мы оставим без рассмотрения; они всегда имеют одну и ту же задачу: доказать правоту генеральной линии партии. С их помощью сам Сталин в «Кратком курсе» установил, что основанная на непримиримом антагонизме классовая борьба, таящая в себе гибель любого общественного строя, в социалистическом обществе превращается в неантагонистическую «критику и самокритику», эту «подлинную движущую силу развития социалистического общества, могучий инструмент в руках партии, новый вид движения, новый тип развития, новую диалектическую закономерность». С их помощью воспитанные Сталиным теоретики без большого труда показали, что, например, паспорт в царской России был средством полицейского террора и порабощения, а в Советском Союзе стал свидетельством свободы человека, что бесплатное обучение до 1939 года было величайшим достижением советской власти, а в 1939 году таким же величайшим достижением оказалось введение платы за обучение и т. д. и т. д.

В результате советская жизнь наполнилась фикциями. Тоталитарный практицизм абсолютного властвования оброс таким количеством псевдонаучных, псевдорелигиозных и псевдопропагандных условностей, что в СССР никого решительно уже не возмущает, когда слова расходятся с делом. Слова увязываются со словами, а дела с делами. Теоретическое, или, если угодно, пропагандное положение о «любви и уважении» советского народа к органам государственной безопасности, например, есть фикция, прикрывающая совершенно противоположные чувства. Решительно все в Советском Союзе знают это, и решительно все делают вид, что принимают

эту фикцию за несомненную истину, выражая свою горячую веру в нее всеми полагающимися средствами вплоть до «бурных, долго не смолкающих оваций» по адресу руководителей политической полиции и доносов на своего ближнего.

Фиктивен в Советском Союзе «трудовой энтузиазм широких масс», «веселая и зажиточная жизнь», «гениальность родного Сталина» «преданность делу Ленина-Сталина» и сотни других пропагандных лозунгов, основанных на столь же фиктивных теоретических положениях о «бесклассовом обществе», «построенном социализме», «морально-политическом единстве советского народа», «подлинной демократии» и т. д.

*Мир большевистской теории это мир мифов, легенд и фикций.* Это — «надстройка», находящаяся часто в кричащем противоречии со своим «базисом», но тем не менее имеющая на него большое «обратное влияние». И в Советском Союзе и за границей до сего дня есть люди, искренне верящие в целый ряд коммунистических мифов; есть люди (и их подавляющее большинство), которые видят в советской жизни глубокую фальшь, чуют лежащие в её основе закономерности, но не в состоянии уяснить себе их подлинную природу (из соображений естественного самосохранения эти люди делают вид, что стопроцентно верят преподносимой им теории и пропаганде и от этого и в самом деле начинают ей немножко верить); есть, наконец, и люди, прекрасно отдающие себе отчет в подлинном соотношении сталинской теории и практики. Последних сравнительно мало среди самих руководителей партии, но зато довольно много среди непримиримых противников строя.

Догматическое, а в некоторой зачаточной форме и культовое начало в сталинизме не следует рассматривать как начало религиозное. Оно *не религиозно, а псевдорелигиозно*, во-первых, потому что оно направлено на предметы недостойные религиозного

поклонения, так как они суть предметы *не небесные, а земные*, во-вторых, потому что, если принять культ Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, коммунистической партии, «самой демократической в мире» конституции и других фикций за религию, то нужно принять за правду по меньшей мере фикцию «морально-политического единства советского народа» и считать, что этот народ в любой момент способен поверить всему, во что партийное руководство найдет целесообразным, чтобы он верил.

Будем помнить поэтому, что все многочисленные явления советской жизни, связанные с догматическими и культовыми началами в сталинизме, суть явления псевдорелигиозные, ибо предметы их не только не религиозны, но по большей части и фиктивны. Иными словами, что все «бурные, переходящие в овацию» аплодисменты, все напыщенные эпитеты и сравнения, выражающие беспредельную благодарность и преданность — лишь условные выражения вовсе несуществующих (и всем прекрасно известно, что несуществующих) чувств.

Разделяя марксистскую теорию, человек не может поверить в сталинскую догматику. Веруя в коммунистические догматы, человек не может быть настоящим марксистом. Поскольку, однако, первый же догмат большевизма гласит: «учение Маркса всесильно, потому что оно верно», а неприятие этого догмата рассматривается как «вылазка классового врага на идеологическом фронте» и подлежит политическому преследованию, *советскому человеку остается открытым только один путь: путь изгнания всякой самостоятельной мысли, фиктивного признания теории и фиктивной веры в догматы.*

Из всего марксистского наследия коммунист сталинской формации искренне может разделять только одно положение: «теория есть оружие в борьбе», причем эпитет «классовой», естественно, должен выпасть из этого определения.

# *Глава 2*

## КУЛЬТ МИФОВ И ФИКЦИЙ

*Культовые элементы в духовной жизни Советского Союза. Фиктивный характер этих элементов. «Сталин — это Ленин сегодня». «Обратное воздействие надстройки на базис» — реальное значение мифов и фикций.*

Установив первый большевистский догмат, Ленин положил начало и культу.

Непогрешимая теория не может быть усвоена умом того всецело определяемого социальной средой животного с сильно развитым мозгом, каким является человек Маркса и Энгельса. Ни социальная среда, ни классовый инстинкт не смогли открыть Марксу и Энгельсу абсолютной и всесильной истины (что их теория её отрицает, теперь уже не имеет значения). Маркс и Энгельс должны быть, следовательно, признаны людьми *особого типа*, людьми, резко отличающимися от всех остальных человеческих существ, а их теория не просто научной теорией, но еще и *откровением*. Созданное ими учение о человеке для них самих недействительно. Они представители иного, не марксова, мира. Их свойства: абсолютная мудрость (ибо их учение содержит в себе всю полноту абсолютной истины) и абсолютная благость (ибо их учение есть единственный путь к спасению человечества) не могут быть выведены ни из предыдущей истории человечества (которая есть лишь история классовой борьбы), ни вообще из свойств описанного ими материального мира. Появление их в Европе XIX века есть *чудо*, т. е. явное нарушение законов мироздания силой какой-

то высшей власти. Поскольку, однако, ни Ленин, ни Сталин так и не раскрывают какой именно, ленинский догмат «учение Маркса всесильно, потому что оно верно», хоть и влечет за собой признание абсолютной истины марксизма-ленинизма и абсолютно совершенных вождей прогрессивного человечества Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, не приводит к полному раскрытию понятий откровения и чуда, элементы которых, тем не менее, щедро рассыпаны по всей советской жизни, как в виде «заветов Ильича» и цитат из классиков, так и в форме невероятных, явно превышающих природные и человеческие возможности «достижений», как советской власти в целом, так и отдельных ее представителей. Развитие коммунистической догматики и проистекающих из нее элементов культа несет в себе, таким образом, постоянное и очень характерное противоречие. С одной стороны, утверждается единый материальный, детерминированный, богопустынный мир, такой, каким он описан в марксистских книгах. С другой стороны, в этом мире, независимо от фазы его эволюционного развития и отнюдь не выводимо из этого развития, в середине прошлого века совершается чудо. Двум человекообразным, но уже не человеческим в марксовом понимании человека, абсолютно мудрым и абсолютно благим существам, Марксу и Энгельсу открывается абсолютная истина. (О, диалектика! «закон отрицания отрицания» — абсолютной истины, конечно, нет, но в этом-то и заключается абсолютная истинность марксизма.) Маркс и Энгельс пишут непогрешимые книги, в которых содержится абсолютно точное описание мира и человека, абсолютно несомненное предсказание их дальнейшей судьбы и абсолютно верное наставление, что и как делать, чтобы эта судьба действительно осуществилась. (О, диалектика! свобода есть, конечно, не более как познанная необходимость, и мир имеет только один неизбеж-

ный путь, но пророчества Маркса и Энгельса могут быть осуществлены только целеустремленным усилием, направленным абсолютно мудрой и могущественной волей человекобога-вождя.)

Далее все развивается по законам диалектической догматики ленинизма-сталинизма. Великой задачей человечества является реализация откровений Маркса и Энгельса. Если мир не таков, каким они его описали, то его надо сделать таким. Если это невозможно сделать, то надо диалектически признать, что он таков, каким они его считают. Если пророчества Маркса и Энгельса не сбываются сами собой, то надо сделать, чтобы они сбывались. Если и это невозможно сделать, то (а диалектика на что же?) необходимо признать, что они сбылись.

Ложный догмат естественно приводит к фикционализму и человекобожеству — двум основам сталинской псевдорелигии. Ибо обычный человек, определяемый своим классовым сознанием, не может, конечно, знать, что следует делать, чтобы построить социализм, как следует толковать и диалектически развивать марксистские книги и какие нужно устанавливать фикции. Больше того, он склонен толковать марксизм как раз не так, как это необходимо для осуществления его пророчеств, а так, как это подсказывает ему его классовое сознание, т. е. впадать во всевозможные «уклоны» и «загибы». Чудесное откровение Маркса и Энгельса пропало бы втуне, если бы в начале XX века не совершилось второе чудо, не меньшее первого: появление Ленина. Ибо Ленин оказался тем свободным от всех марксистских законов существом, которому в порядке второго откровения далась способность единственно правильного понимания и толкования марксистских книг. На основе этой чудесной способности ему далось еще и право «диалектически» их развивать и дополнять в интересах скорейшего осуществления записанных в них пророчеств, в той мере, в

какой Ленин сочтет возможным и нужным заняться их осуществлением.

Начинается вакханалия ложного мифотворчества, которое можно было бы почесть за бред, если бы оно не имело совершенно определенного *прикладного* характера, если бы оно не являлось весьма действенным проявлением «обратного влияния надстройки на базис», осуществляемого для вполне *практических* целей.

Ленин создает теорию «наиболее слабого звена в цепи капитализма», прорывает эту цепь там, где он находит это в первую очередь необходимым, т. е. в России, и создает первое в мире пролетарское государство — СССР, плацдарм мировой революции. Он с абсолютной мудростью управляет этим государством к абсолютному благу трудящихся всего мира; с абсолютным ясновидением узнает среди своих приближенных (из которых совершенно естественно три четверти оказываются предателями и прислужниками мировой буржуазии) мудрейшего и потенциально уже всемогущего Сталина и передает ему дальнейшую деятельность по разработке (включая и диалектическое развитие) и проведению в жизнь пророчеств Маркса, Энгельса и своих собственных.

После смерти Ленина, Сталин остается на земле единственным средоточием абсолютной мудрости, абсолютной благости, а в границах социалистического лагеря — и абсолютного могущества. Он безошибочно ведет человечество к построению коммунистического общества, ибо он один ведает до конца свойства этого общества и ведущие к нему пути. Он уже создал первое в мире государство трудящихся, в котором цветут народы, освобожденные от эксплуатации человека человеком, наслаждаясь правами подлинной свободы, золотыми буквами записанными в солнечной Сталинской Конституции. Это государство является наиболее могущественным в мире, так как в нем идет совершенно чудесный рост всех производительных сил, в то время как в ос-

тальном мире, находящемся еще, к сожалению, под классовым господством загнивающей буржуазии, идет неудержимый процесс разложения. Сталин — это Ленин сегодня.

Воспитанный Сталиным *советский человек*, в противоположность досоциалистическому человеку, *есть новый человек, обладающий сознанием, определяемым* уже не эгоистическими классовыми интересами, а *волей и мудростью обожаемого им* Сталина. Сталинский человек во всех своих мыслях, чувствах и действиях определяется уже не материальными причинами, а самоотверженной любовью и фанатической преданностью партии Ленина-Сталина. Марксово учение о человеке сохраняет свою силу в классовом, досоциалистическом обществе. В СССР, в условиях уже построенного социализма, в бесклассовом обществе, с вершин которого уже видна заря коммунистического блаженства, живет новый, сталинский человек, воспитанный им по своему собственному замыслу о человеке.

В коммунистическое вероучение сталинская эпоха внесла очень много нового. Во-первых, она почти до крайнего возможного предела развила фикционализм, только в потенции содержавшийся в первом догматическом выступлении Ленина. Во-вторых, из двух возможных путей развития — обожествления коммунистической партии или обожествления вождя она решительно стала на второй путь, используя партию лишь как фон для вящего прославления ее руководителя или, что практически гораздо важнее, как *безличную форму выражения его мысли и воли.*

Ленин, вне всякого сомнения, является основоположником большевистской догматики. Но, устанавливая догмат непогрешимости Маркса и Энгельса, он едва ли мог оценить все последствия, которые повлечет за собой это установление и едва ли мог обозреть все выводы, которые будут из него сделаны.

Наукообразная «теория» и «диалектический» метод ее развития сохранили свои права и в сталинскую эпоху, но они занимают сейчас ничтожное место в идейном арсенале коммунизма, по сравнению с периодом его зарождения. Марксистско-ленинская теория только в порядке фикции по-прежнему признается незыблемой основой всякого знания. Институт Маркса-Энгельса-Ленина продолжает существовать, но все необходимые идейные надстройки создаются вне его лично товарищем Сталиным (или, в безличной форме выражения, ЦК ВКП(б).

Экзотерическая идеология сталинизма, основной характеристикой которой является догматизированная фикция, ищет своего выражения не столько в теории, сколько в художестве и культообразном церемониале. Художнику легче изображать несуществующее как бы существующим, чем ученому (метод социалистического реализма заключается именно в приемах, придающих заданным советскому искусству несуществующим в жизни образам натуралистические характеристики), а культообразный церемониал может оказывать, особенно на неверующие души, почти то же воздействие, что и подлинный религиозный культ.

Культ Сталина получает поэтому гораздо большее значение, чем практиковавшийся в двадцатых годах культ Маркса-Энгельса-Ленина, хотя принципиально мало чем от них отличается. Исходя из фикции и возвращаясь к фикции, он, как и всякое действо, не может оставаться только фикцией. Психологическая закономерность, в силу которой мы становимся грустны, если нам удастся заплакать, вносит в культ Сталина сверх содержащейся в нем фикции еще и предписываемое этим культом содержание, искусственно рождающееся от фикции, но преломляющееся в сознании как подлинное. Пропагандный смысл этого вида «обратного воздействия надстройки на базис» заключается в том, что к сознанию советского человека, и без того затемняемому

целой системой схоластических выкладок, пристраивается специальный угол «сознательности», принимающий в себя ряд своего рода псевдозмоций, в значительной мере нейтрализующих или по меньшей мере сковывающих чувство ненависти к партийной диктатуре.

Существует известное замечание Сталина о том, что ему «неловко читать» постоянные похвалы Сталину. В этой «неловкости» есть только один смысл: она имеет целью поддержать фикцию скромности человекобога, совершенно безразлично льстит ли культ Сталина сознанию самого вождя или нет. Помимо того влияния, которое оказывает на сознание советского человека ежедневное и ежечасное восхваление мудрости, благости и могущества человекобога, советскому обывателю, только что принимавшему участие в демонстрации преданности «партии, правительству и лично товарищу Сталину», подписавшему ему очередное письмо с выражением горячего желания понизить, скажем, расценки на изготовляемую им деталь, может быть очень досадно, что он принимал участие в действии, в котором не чувствует ни малейшей надобности, но всё же несколько неловко тут же Думать совершенно обратное, тем более, что это обратное весьма сурово карается.

В отличие от его догматической стороны, теперь уже хорошо разработанной, обрядовая сторона большевистского культа еще только грубо намечена и не получила самодовлеющего значения.

Она не может получить его по крайней мере до тех пор, пока в нее не введен мистический элемент. У партии Сталина есть священные книги: все, что написано четырьмя человекобогами. У нее есть каста толкователей этих священных книг, возглавляемая самим живым человекобогом Сталиным, который, таким образом, является одновременно как божеством, так и верховным жрецом своей собственной псевдорелигии. Вся эта система, однако, —

и потому то она не может стать подлинной религией, а вынуждена развиваться по пути религиеобразного лицемерия, — точно так же отрицает всякий потусторонний мир, как и материалистическая марксистская теория.

Без веры в потустороннее, однако, не может быть мистики, а без мистики не может быть ни молитвы, ни таинства, без которых религиозный обряд не имеет смысла. В отрицании мистического начала и в зачаточном состоянии обрядности при весьма сильно развитой догматике лишний раз раскрывается ущербность коммунистической псевдорелигии, вытекающая, как мы уже видели, из фиктивности ее содержания.

Современный культ Сталина и коммунистической партии не знает храмов, как специальных помещений для совершения религиозного обряда. Красные уголки, по внешнему оформлению напоминающие храмы, как раз почти никогда не употребляются для проведения коммунистических церемоний сколько-нибудь значительного масштаба. Высоко ритуализованные церемонии, возвеличивающие Сталина, Ленина или какой-нибудь коммунистический праздник, напоминают богослужение только немного больше, чем церемониальные обычаи при каком-нибудь европейском дворе двести лет назад. А известные ежегодно произносимые речи «без Ленина по ленинскому пути», хоть и, несомненно, похожи на торжественные проповеди, не сопровождаются ничем, всерьез аналогичным богослужению.

Без признания потустороннего мира, без мистики, молитвы и таинства можно создать только фиктивную обрядность, и все сходные с ней явления, которые довольно легко наблюдать в советской жизни, даже несмотря на их тесную связь с догматикой, следует рассматривать скорее как церемониал, чем как религиозный обряд.

Коммунистическая псевдорелигия исчерпывается по существу догматикой. Заключенная в ее «свя-

щенных книгах» материалистическая теория служила до сих пор непреодолимым препятствием для развития веры в потусторонний мир (мир идеального бытия материализован в ней в виде коммунистического общества, венчающего мировую историю), а отсутствие этой веры не давало возможности развиться мистике и основанной на ней обрядности, — лишнее доказательство фиктивности всех ленинских и сталинских верообразных построений.

*Коммунистическая псевдорелигия это культ догматизированных фикций. Сама по себе она эмоционально пуста.* Связанные же с ней культовые начала, наиболее ярко выражающиеся в поклонении Сталину, питаются не из потребности человека верить и поклоняться, а совсем из другого источника: *из нужд «обратного воздействия надстройки на базис»*, стремящегося поставить себе на службу всю духовную жизнь советского человека.

## *Глава 3*

# ДИАЛЕКТИКА СТАЛИНСКОГО ФИКЦИОНАЛИЗМА

*Образование эзотерического ядра в большевизме. Социализм как средство для властвования. Теория и культ как мнимый мир мнимой веры. Разрыв между ранним и поздним* большевизмом.

Представление, будто правящая партия фанатически исповедует марксизм и в строгом соответствии с ним ведет страну к коммунизму — миф, внушаемый коммунистической пропагандой. Научный аспект марксистской теории частью открыто, а главным образом втихомолку, отвергнут. Его представители, так называемая «ленинская гвардия», расстреляны. Классический марксизм заменен новой доктриной, созданной Лениным и Сталиным, носящей догматический характер и не подлежащей поэтому ни научной, ни политической критике.

Доктрина эта, во-первых, носит не научный, а псевдорелигиозный характер, во-вторых, весьма далека от классического марксизма, в-третьих, официально тем не менее признается за правоверный марксизм, в-четвертых, вовсе *не выражает миросозерцания Сталина и правящей верхушки,* отчасти сознательно, отчасти бессознательно искажая это миросозерцание. За этим официальным, экзотерическим исповеданием веры стоит подлинное, нигде прямо не выраженное эзотерическое исповедание. Оно скрыто, потому что по своим свойствам не может быть возвещено прямо, по крайней мере до той поры, пока коммунизм не овладеет всем миром.

Говоря так, мы отнюдь не имеем в виду субъективные представления и убеждения правящей олигархии. Мы охотно готовы признать, что «люди в Кремле» совершенно искренне считают себя марксистами-ленинцами, если, конечно, они вообще способны к искренности. Больше того, мы готовы согласиться и с тем, что современный сталинизм, со всеми его фикциями и всей его неукротимой волей к порабощению, в потенции содержится уже в «Коммунистическом манифесте» Маркса и Энгельса, хотя не можем, конечно, не видеть, что «Коммунистический манифест», точно так же, в потенции содержит и многое другое, совершенно отброшенное ленинизмом и сталинизмом.

Субъективные переживания его руководителей суть лишь различные у разных лиц субъективные преломления объективной сущности сталинизма. Эта сущность, как мы увидим ниже, вовсе и не нуждается в теоретическом выражении и вообще исключает самую возможность подлинного убеждения, подменяя его сознательной ложью и бессознательным самообманом.

Однажды вступив на путь фикционализма, советские вожди приучили себя никогда не снимать масок. Эти маски приросли к ним, в результате, настолько прочно, что снять их они теперь не могут даже наедине сами с собой. И надо полагать, что за этими масками скрываются уже не живые лица, а голая сущность. Во главе большевизма, в конечном счете, даже не Сталин, поскольку он все же живой человек, а нечто безликое и безличное, некий невоплощенный и невоплотимый аноним.

Возможно, что «люди в Кремле», в конце концов, не ведают, что творят. Еще возможнее, что они обманывают себя еще страшнее и глубже, чем других.

Процесс образования эзотерического ядра в коммунизме или, если хотите, процесс самораскрытия его природы, осознавался коммунистами только в более или менее самообманных формах. Отстраивая систему активной несвободы, они сами оказались ее пленниками. Уничтожая свободу других они уничтожали и свою собственную свободу. Навязывая

другим мифы и фикции, они тем самым лишали себя возможности осознания того, что за ними скрывается. Обманывая других, они должны были обмануть и обманули себя. Мысли и убеждения, которые, может быть, и принимаются ими за действительные причины и основания их поступков, не есть эти причины и основания. Описывая развитие большевизма, мы должны постоянно иметь это в виду.

Члены КПСС сталинского времени, включая и руководящую верхушку, очень мало имеют общего с большевиками начала этого века. Те считали себя марксистами. Марксизм, который они исповедовали, представлял собой сочетание противоречивейших элементов. Это было, прежде всего, убеждение, согласно которому развитие производительных сил и классовая борьба пролетариата должны неизбежно привести человечество к социализму, что Маркс, якобы, научно предвидел и обосновал. Б противоречии со строгим детерминизмом марксизма, с отрицанием свободы воли в нем звучал, однако, призыв к освобождению человека. Коммунистический строй представлялся марксистам как заключительный аккорд истории человечества, как царство свободы, величайшего материального благополучия, безгосударственного состояния и нравственного совершенства человеческого рода. С этой верой в земной рай марксисты соединяли моральный пафос, страстное сочувствие угнетенным и волю к их освобождению. Это было некритическим сочетанием наукообразной доктрины, чуждой всякому нравственному началу (ибо нравственность, согласно первоначальному марксизму, не более, как изменчивое и многообразное отражение в сознании людей их экономических отношений) и нравственного пафоса социальной справедливости.

Путь к социализму первым большевикам не представлялся трудным. Трудности, которые они предвидели, сводились к препятствиям, воздвигаемым

капиталистами. После победы над капиталом и установления диктатуры пролетариата эти трудности исчезали и начиналось триумфальное шествие человечества, возглавляемого пролетариатом, к социализму «семимильными шагами». И если, в представлении тогдашних большевиков, по установлении диктатуры пролетариата и придется прибегать к насилию против разбитых эксплуататорских классов, то классы эксплуатируемых прильнут к кубку счастья, и для них начнется вечный день с незаходящим солнцем. И власть, и диктатура, и связанный с нею террор первоначально представлялись только средствами, поставленными на службу несомненно прекрасной цели. *Все они были для революционных социал-демократов ценностями служебными,* а высшей ценностью представлялось всечеловеческое счастье и социальная справедливость. Для достижения этой ценности заранее признавалось допустимым некоторое насилие, более того, некоторое нарушение нравственных норм.

Среди большевиков, психика которых не лишена была и реалистических черт, находились люди, которые сомневались в правильности только что приведенной идиллической концепции. Они подозревали, что трудности не исчезнут, а только начнутся после «экспроприации экспроприаторов», что психология пролетария не такая уж стопроцентно социалистическая, что ее переделка на социалистический лад будет делом нелегким, что социалистическое воспитание потребует применения насилия и против пролетариев, не говоря об остальном человечестве. Самый социализм представлялся им не раем земным, а суровой школой, которую длительное время должно будет проходить человечество. И оправдан социализм был в их глазах не присущими ему началами социальной справедливости, а *неизбежностью его наступления* в силу законов исторического развития.

Но и для людей этого типа власть отнюдь не яв-

лялась еще верховной ценностью, а только средством. Верховной ценностью оставалось всечеловеческое счастье в форме коммунистического общества.

Впрочем, последняя разновидность большевистского мировоззрения уже не нашла отражения в партийной литературе. Она осталась только настроением, выражавшимся от случая к случаю в разговорах, интимных письмах, дневниках и не подверглась теоретическому оформлению.

Глубокое изменение психологии большевиков произошло после захвата ими власти и первых лет социалистической диктатуры в России. Утопические элементы их мировоззрения обнаружили полную свою несостоятельность. Это подчеркивалось тем обстоятельством, что согласно марксистской теории из стран Европы Россия была наименее всех подготовлена к социалистическому эксперименту, и социализм в ней приобретал такие формы, что терял последние остатки сходства с социализмом, который с таким жаром проповедовали герои революционного подполья. История поставила перед большевиками суровую дилемму: либо капитулировать и уступить власть «реставраторам капитализма», либо «строить социализм в одной стране», зная заведомо, что этот социализм ничего общего не имеет и не может иметь с чаемым социалистическим раем и что строить его придется на костях народных и в отчаянной борьбе с народом.

И этот социализм не только оказался лишенным того нравственного содержания, которое ему приписывали утописты, он, кроме того, стал явлением, несомненно, искусственным и лишенным всех черт исторической необходимости. Ленин и тогдашние руководители большевизма, надо полагать, поняли это достаточно ясно.

Между ними возник раскол. Одни высказывались за отказ от диктатуры, за коалицию с «буржуазными» элементами страны, за освобождение крестьянского хозяйства от социалистических пут. Другие за

ультранасильственное и кровавое (иным оно быть не могло) «построение социализма в одной стране». Вторые истребили первых и провели сплошную коллективизацию, что означало величайшее насилие, осуществленное ничтожным меньшинством над огромным народом. Строить свой социализм большевики могли только в войне с собственным народом. То, что могло дать им победу в этой войне, могло быть только *техникой властвования.*

Вопросы принудительного властвования приобрели центральное значение в сознании большевиков. Организовать аппарат власти самым совершенным образом, умело его использовать, беречь его, совершенствовать его, укреплять его всеми возможными способами стало важнейшей, насущнейшей их задачей. Средство, которое должно было служить высшей цели по мере осознания нереальности и недостижимости этой цели, само стало целью. *Сталинское понимание социализма есть понимание его, как средства для поддержания власти, точнее, как формы абсолютного властвования.* Это глубочайшим образом искажает его природу, сообщает ему глубоко служебные черты, из ранга высшей цели и ценности низводит его в ранг формы и средства. Пропасть отделяет современных большевиков от большевиков времени второго и даже третьего съезда РСДРП.

Если бы большевики смогли признать происшедшую с ними перемену, если бы они смогли назвать вещи их именами, они не нуждались бы ни в мифах, ни в фикциях. Но они не могут и не смеют сделать этого, ибо это значило бы обречь своё дело на заведомую неудачу. И потому целый ряд понятий, уже совершенно мертвых, продолжает жить призрачной официальной жизнью. Жизнь в Советском Союзе проникнута насквозь иллюзиями и фикциями. И это отнюдь не безобидные фикции, требующие только условного признания, вроде тех нескольких зернышек фимиама, которые поздние римляне продолжали сжигать перед статуями богов,

в которых давно уже больше не верили. Ибо фикции эти не орнамент, не пережиток, а весьма действенное средство, которое призвано служить укреплению подлинной *верховной ценности сталинизма — власти*. А так как эта верховная ценность исповедуется эзотерически и никогда не называется по имени, то и культ её запечатлен чертами глубокого лицемерия. Лицемерие же неизбежно ведет к усилению жестокости культа.

Отношение эзотерического замысла сталинизма к официально исповедуемому им марксизму, таким образом, довольно сложно. Он тесно связан с ним генетически и использует его как догму, на основе которой и развертывает своё «обратное воздействие надстройки на базис». Но руководящие идеи сталинизма конечно, не суть марксизм. Сталинизм лишь одна из возможных (вне всякого сомнения вполне закономерных) моделей социализма.

Во многом противоречивые элементы, заложенные в первоначальном марксизме, могли получить и получили совершенно различное развитие социализма, и помимо расхождения марксистов с утопистами, а позднее с Лассалем или нашими народниками и эсерами, можно указать и на целый ряд социалистических партий, исповедующих марксизм и, тем не менее, обозначаемых как «социал-предатели».

Больше того, сущность сталинизма выкристаллизовалась окончательно только перед самой войной. Борьба между Троцким и Сталиным, если рассматривать её в плане борьбы мироощущений (а такой план она, конечно, тоже имела), есть борьба за толкование ленинского наследства. Тоталитаризмом большевизм сделал уже Ленин. Но Ленин не вполне определил характер этого тоталитаризма. Ленин — основоположник большевистской догматики и автор целого ряда отдельных мифов и фикций, но творец целостной системы иллюзий, несомненно, Сталин. Ленин сам — обличитель и циник, умевший и очень любивший разоблачать чужие иллюзии. В этом ему наследовал не Сталин, а Троцкий. Сталин стремился к осуществлению тотального властвования под

маской коммунистических идеалов. Троцкий не успел сбросить этой маски, но по многим признакам был вполне способен это сделать.

В период внутрипартийной борьбы в большевистской среде шел процесс освобождения от первоначальной марксистской веры. Эта вера явно оказывалась несостоятельной и должна была уступить место чему-то новому, может быть, совершенно иному. Это иное и новое мучительно рождалось во внутрипартийной борьбе. Троцкий (и в этом родство троцкизма с гитлеризмом) видел его на путях освобождения от иллюзий, в открытом насилии. Слабость Троцкого, может быть, причина его поражения, так же как и слабость Гитлера, была в его искренности, ибо откровенное зло в жизненной борьбе всегда оказывается слабее зла лицемерного. Сталин это, по-видимому, хорошо понимал. Он с самого начала стал на путь последовательного фикционализма.

В своем отношении к власти сталинцы разделились на две неравные группы. Одни — таких ничтожное меньшинство — держат власть в своих руках, считают её своим достоянием и расплачиваются за обладание этим сокровищем страхом. Вся административная практика этих людей, всё созданное ими государственное устройство проникнуты одной заботой: обезопасить свою власть от возможных на неё посягательств. Они боятся своей армии, своих офицеров, своих специалистов, своего народа, своих собственных товарищей по партии. Смертельно боятся гласности. Они, если не сознанием, то «нутром» понимают, что их верховная ценность — самозванка, воссевшая на престоле незаконно. Удел самозванца — сознание незаконности своих притязаний и страх.

Другие, то есть огромное большинство членов партии, относятся к власти иначе. Сами они властью не обладают, они лишь средство для охраны власти тех, кто ею пользуется. Они признают эту власть как

непреоборимую реальность, как непреложный факт и относятся к нему, как восточный раб к своему деспоту. *Они по природе своей фактопоклонники.* Они не подвергают явление сталинской власти нравственной оценке. Они служат власти очень усердно, потому что она представляется им несокрушимой, потому что всякий протест против неё грозит неизбежной гибелью, а недостаток усердия по службе — потерей жизненных благ (иногда значительных, иногда крайне мизерных), которыми власть вознаграждает своих слуг. Пафос социальной справедливости, пусть ложно направленный, но воодушевлявший большевиков начала века, выветрился окончательно и заменился фактопоклонством и служением власти, в котором много цинизма, но нет и следа нравственного начала.

Народ в целом относится к власти, возведенной в ранг верховной ценности так, как и надлежит к ней относиться: как к идолу, который претендует на служение, подобающее единому Богу. С этим идолом народ не помирился и не помирится никогда. Но сталинцы, и не призывают открыто к поклонению этому идолу. Требуя фактического служения ему, служения, которое выше человеческих сил, они прикрывают своего идола фикциями, легендами и мифами. Вся советская пропаганда поставлена на службу фикционализму, вся явная экзотерическая сторона их духовной жизни выражается в форме фикций, создается мнимый мир мнимой веры, только условно связанный с тайной реальностью подлинного мироощущения сталинизма и с явной реальностью советской жизни.

# *Глава 4*

## СЛОВО И ДЕЛО В СТАЛИНИЗМЕ

*Разрыв между пропагандой и действительностью. Экзотерическая и эзотерическая стороны духовной жизни сталинизма. Принципиальное и служебное значение мифов и фикций.*

Разрыв между действительной жизнью в СССР и официальным её изображением не случаен: он вытекает из главной характерной черты духовного творчества сталинского времени, его абсолютной подчиненности идее тотального властвования.

Духовный мир сталинизма это, с одной стороны, иллюзорный мир, это заведомо ложные, догматически установленные, теориеобразные положения, вроде учения о бесклассовом обществе или о построении социализма в одной стране, это бесконечная серия мифов и фикций — сталинская псевдорелигия. С другой стороны, это огромный опыт насильнического властвования, это приобретенное в практике уменье поставить решительно всё на службу тотальному властвованию. Между этими сторонами зияет пропасть. Действительная жизнь в СССР прямо противоположна фикции «счастливой и зажиточной жизни в самом свободном государстве в мире».

Все, о чем говорит сталинский пропагандный аппарат, всегда в той или иной степени мнимо. Важнейшее, то, чем сталинизм живет на самом деле, выражается только в практических действиях. Об этом важнейшем в советской печати никогда нигде не было и, вероятно, не будет сказано ни слова.

*Идеи, представления и принципы, реально руководящие деятельностью сталинизма,* это *практические идеи и практические принципы,* которые не могут быть адекватно выражены теоретически, да и *не нуждаются в теоретическом выражении.* Пытаться выразить их в форме теоретических положений, значит насиловать их сущность. Они скрываются не потому, что они непременно должны скрываться, хотя их обнаружение и было бы смертельной опасностью для сталинской власти, но потому, что они эзотеричны по природе, что они вообще не выразимы теоретически.

Всё, что может быть сказано об эзотерической стороне сталинизма неизбежно будет лишь теориеобразным искажением её сущности. Эту сущность надо уметь ощутить не в теории, а в практике при посредстве того «шестого чувства», которое большевики еще при Ленине стали называть «чутьем». То, что для любого другого культурного явления есть выражение его духовной природы — религия, философия, право и нравственность, вкусы и идеалы — для сталинизма лишь практическое оружие, лишь средство для достижения практических целей.

Тот, кто заявит поэтому, что в сталинизме нет вообще никакой духовной жизни, будет по-своему прав. Духовная жизнь народов России осуществляется несмотря на Сталина и вопреки Сталину. Духовная же жизнь самого сталинизма это либо невыразимые и сплошь да рядом не могущие быть даже ясно осознанными соображения о том, как разрешить ту или иную практическую задачу, либо это крикливая псевдожизнь, мнимая величина, именно как такая и употребляемая для целей большевистской практики. *Духовное творчество в сталинизме подменяется творчеством фикций.*

Использование теории как «оружия в классовой борьбе», маскировка онтологического замысла большевизма мифом о коммунизме делает лицемерие конститутивным элементом сталинизма. В этом ли-

цемерии, естественно ведущем к разрыву между официальной, экзотерической, показной доктриной и подлинным, эзотерическим мироощущением, заложен фундамент того мира иллюзий, который Сталин стремился построить над им же самим создаваемой, всегда глубоко отталкивающей действительностью. Мир мифов и фикций — целеустремленная ложь, так же, как и насильническое властвование, — имеет для большевизма и самодовлеющее, и служебное значение.

Онтологический замысел сталинизма — тотальное овладение процессом мировой истории — в области духа может быть осуществлен только условно: исходя из марксистской теории, марксисты-сталинцы создают искусственный мир иллюзий, призванный подменить подлинную духовную жизнь и затем мнимо властвуют в этом мнимом мире. Эзотерическая же сторона большевистского духа — его воля к власти — бессловесна по самой своей природе. *Угашение подлинной духовной жизни путем подмены её мнимой жизнью вполне подвластных ему фикций есть интегральная часть онтологического замысла сталинизма. Фикции для сталинизма и самоцель, и самоценность.* Творчество их так же существенно, как и овладение материальным аспектом бытия.

Но так же, как всё большее овладение материей есть не только шаг вперед на пути к тотальному овладению миром, но и новое средство для этого овладения, так и развитие и усовершенствование каждой сталинской фикции есть не только самоцель, но вместе с тем и средство как для расширения мнимого властвования над духом, так и для «обратного воздействия надстройки на базис», для реального влияния на поведение человека.

Говорить о религиозном, философском или художественном творчестве в сталинизме нет поэтому надобности. Оно в конечном счете есть лишь оформление мифов и фикций, которые имеют в совет-

ской действительности совершенно иное и бóльшее значение, чем в современной европейской культуре. И не только в том смысле, что мифов и фикций этих существует бесчисленное множество и вся жизнь в Советском Союзе пронизана ими, но и потому, главным образом, что система их составляет целую псевдорелигию, что их смысл, их функциональная нагрузка принципиально иные, чем на Западе. Миф и фикция в руках Сталина, прежде всего, фактор управления, одно из средств властвования, способ парализовать волю народа к сопротивлению власти.

Внешний духовный мир сталинизма это ряд верообразных положений, в которые никто не верит, но все обязаны делать вид, будто верят. По содержанию это, как мы уже знаем, писания Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, бесконечная серия так или иначе связанных с ними мифов и фикций и целый ряд действий ритуального характера, как, например, подписка на заем, выборы в советы, первомайские и октябрьские демонстрации и т. д. К ритуалу сводятся часто и занятия политических кружков при учреждениях и предприятиях, да и вообще все усилия по овладению тем, что громко именуется «теорией» или «мировоззрением». Целый ряд мифов и фикций давно уже превратился в своего рода этикет. На любом собрании, будь то совещание бухгалтеров или членов сапожной артели, докладчик непременно должен сказать об СССР как самой передовой стране мира, о нашей родной советской власти, о заботах партии, правительства и, наконец, о гениальности любимого Сталина. Что-нибудь в этом же роде должен сказать и каждый выступающий на собрании, хотя бы дело шло о каких-нибудь статьях балансовой отчетности или необходимости повысить качество вышускаемых подметок.

Фикционализм окрашивает лицемерием советский язык, делает его изумительно удобным для пусто-

словия и сообщает ему характернейшую двусмысленность, позволяющую говорить о самых сокровенных замыслах терминами плакатов и настенных лозунгов.

Но словесностью сталинский фикционализм далеко не исчерпывается. Партийная практика знает очень большое число действий, совершаемых исключительно во имя служения фикциям. Достаточно назвать всю систему советского демократизма, фиктивную решительно во всех своих деталях, начиная от акта выборов и кончая любым заседанием Верховного совета СССР или любой из входящих в него республик. Ради служения фикциям большевики создали целый ряд специальных учреждений: Институт Маркса-Энгельса-Ленина и кафедры марксизма-ленинизма во всех учебных заведениях страны, советский парламент — Совет Союза и Совет Национальностей, всевозможные показательные учреждения, предприятия и организации, школы, больницы, ясли, колхозы и пр. Не приходится говорить, что вся сеть пропагандных учреждений СССР (несущих, к слову сказать, далеко не только пропагандную нагрузку) поставлена целиком на службу фикционализму.

Работу по распространению и использованию фикций ведет вся коммунистическая партия и вся «честная и прямодушная советская общественность». На фикции же, несущие, скажем, забегая вперед, функции замаскированного приказа, опирается вся система управления, даже в таких, казалось бы, далеких от идеологии областях, как техника, хозяйство, военное дело.

Элементы фикционализма пронизывают всю советскую жизнь, они всё больше и больше врастают в быт, становясь его неотъемлемой частью. Вместе с ними врастает в быт и привычное лицемерие. *Замена подлинной веры мнимым вероподобием, привычка относиться к слову, как к пустословию, как к принудительному выражению искусственного эн-*

*тузиазма или негодования* есть основное свойство «*социалистической психики*». Разрыв между действительной душевной жизнью и условными формами её выражения нормализуется, становится, если хотите, бытом.

Это несомненная победа сталинизма, но это и зародыш смертельной для него болезни. Фикции оголяются, мифы теряют последний остаток вероподобного отношения к ним, ритуал, в свое время насыщенный известным содержанием, становится пустой и тягостной формой. Такой же проформой становится и этикет, первоначально также наполненный действительным содержанием. Так раньше, принимая участие в подписке на заем, некоторая часть граждан действительно верила, что она не только оказывает услугу государству, но что это выгодно и самим подписчикам. Участвуя в выборах известная часть верила, что это действительно демократические выборы и т. д. Говоря на собрании о самой передовой стране, о гениальности родного Сталина, опять-таки, конечно, не все, но какая-то часть присутствующих была в этом уверена.

По мере обнажения разрыва между мнимым миром пропагандных иллюзий и реальной действительностью и, что еще важнее, по мере того, как психика советских людей перевоспитывается на социалистический лад, то есть научается без внутренних конфликтов жить в резко противоречащих друг другу различных плоскостях мнимой свободы и благополучия и действительного рабства и нищеты, элементы пропагандного воздействия, которое мир большевистских иллюзий оказывал на действительные убеждения советских граждан сходят на нет.

Иллюзии, составляющие экзотерическую сторону духовного творчества и пропагандной работы партии, хоть и по-прежнему пронизывают все стороны советской жизни, всё больше и больше отрываются от реальности. Мертворожденный мир мнимо ду-

ховного бытия, тот самый, который лежит в онтологическом замысле сталинизма, на наших глазах начинает отрываться от живой жизни, терять с ней связь, становиться всё более и более самодовлеющим. Созданная в целях угашения свободы духа большевистская псевдорелигия, по мере своей эмансипации от связей с реальностью (а только в этой эмансипации лежит залог изгнания из неё последних остатков духовной свободы) угашает самоё себя. *Утверждая свою онтологическую сущность, она тем самым теряет свое влияние на души.* Она впадает в то самое Небытие, ради которого была создана. В этом возмездие Духа за ту хулу на него, которая лежит в самом замысле сталинизма.

Пропагандное значение партийного мифотворчества, его влияние на умы из года в год уменьшается. Это не значит, однако, что уменьшается вообще его практическое значение. Ибо пропаганда есть только одна, наиболее бросающаяся в глаза, но отнюдь не самая важная нагрузка мифов и фикций. Картина самого прогрессивного, самого справедливого и самого демократического строя, как она рисуется в системе сталинского фикционализма, отнюдь не только пропагандная маска. В идиллическую картину «самой счастливой в мире страны» в её целом не верит уже никто, но отдельные элементы этой картины, отдельные мифы и особенно фикции в очень значительной мере определяют *поведение* советского человека, независимо от того в какой мере он в них верит или не верит.

Ведь исповедание официальной догмы в СССР общеобязательно. Любой советский гражданин, от самого Сталина и до последнего малыша в яслях последнего колхоза, обязан верить, вернее делать вид, что он верит в то, что не может быть жизни лучше той, которую он ведет, ибо партия говорит всегда правду и только правду и творит всегда добро и только добро. Эту свою веру или, поскольку её всегда недостаточно, имитацию этой веры советские

люди обязаны *доказать делами*. Они обязаны проявлять не только словесную преданность партии Ленина-Сталина, но подтверждать эту преданность активным участием в избирательной кампании и добровольной подпиской на отнюдь не фиктивный заём очередной пятилетки. Они обязаны не только с энтузиазмом приветствовать любое решение партии и правительства, но и поддерживать его добровольно выдвигаемыми встречными планами и вполне реальными трудовыми обязательствами.

Сталинские мифы и фикции отнюдь не пустые призраки. Руководителям партии и правительства становится всё более и более безразлично, кто и в какой мере разделяет создаваемые ими очередные убеждения советского народа. Служба государственной безопасности достаточно солидно гарантирует добросовестное соблюдение внешнего декорума этих «убеждений», и мнения, противоречащие официальным установкам, в СССР не высказываются никакими намеками. Основное значение мифов и фикций отнюдь не только словесное: они суть *условные формы приказа*, исполнение которого совершенно обязательно.

Партии и правительству год от году приходится отодвигать всё дальше и дальше на задний план заботу о том, что собственно думает советский гражданин. *Лежащее в замысле сталинизма упразднение свободы означает не перестройку, а упразднение убеждений.* Создание «социалистической психики» не означает больше задачи заставить всех думать так, как это угодно Сталину, но свелось к элементарному запрещению вообще думать, к принудительному повторению одних и тех же стандартных истин, которые из страха и привычки повторяют уста при полном молчании сердца.

Практическое значение фикций этим нисколько не умаляется. Совершенно не важно, например, верит ли народ или даже верят ли сами члены

партии в стихийную враждебность «капиталистического окружения». Миф о капиталистическом окружении практически равнозначен приказу готовиться к войне. Этот приказ и выполняется каждым советским человеком, совершенно независимо от того, что он думает об европейских и заокеанских странах и как он относится к советской власти. Фикция трудового энтузиазма равнозначна приказу ехать на социалистические стройки, в необжитые районы страны, проводить на производстве десять и двенадцать часов при сохранении официального восьмичасового рабочего дня, сдавать бóльшее количество продукции при сохранении той же заработной платы и т. д. и т. п. Фикции «морально-политического единства» и «преданности делу Ленина-Сталина» означают добровольное (читай: бесприкословное) подчинение любым распоряжениям партии и правительства, даже самым антинародным.

Каждый советский гражданин обязан не просто делать вид, что он верит в капиталистическое окружение, выжидающее только подходящего момента, чтобы напасть на миролюбивую родину всех трудящихся. Это было бы ему очень легко, но совершенно не нужно власти. Нет, он обязан вести себя так, как если бы он лично чувствовал себя на самом деле окруженным всякого рода врагами народа, шпионами, диверсантами, саботажниками, вредителями, дезорганизаторами социалистического производства, изменниками родины и сигнализировать об их происках. Он обязан не просто словесно выражать священный гнев против всех врагов коммунистической партии — от этого делу Ленина-Сталина не было бы в сущности никакой пользы — он обязан быть «бдительным», то есть искать и находить (непременно находить!) «недобитых» и «притаившихся» врагов народа и, главное оказывать в этом активное содействие вылавливающим их (и только их!) органам государственной безопасности.

Сталинский фикционализм не является чем-то второстепенным, случайностью, орнаментикой. Легко произвести следующий мысленный опыт: сначала представить себе Советский Союз в согласии с официальными фикциями, а потом без них, то есть таким, каков он есть на самом деле. Получится два различных, ни в чем не сходных друг с другом мира. *И фикции эти не суть плод веры: в них не верит ни власть, ни подвластные.* Они не являются и попыткой обмануть подвластных: на подобной мякине многоопытного советского воробья не проведешь. Не есть они и лицемерие того сорта, о котором сказано, что это «дань, которую порок платит добродетели». Но если народ нельзя обмануть, то нельзя ему и прямо сказать, чему и зачем его заставляют служить. Провозгласив официальную веру в фикции, сталинизм создал целую систему псевдоубеждений, заставляющих советского человека завести в своей душе своего рода пристройку показной «сознательности», парализующей в нем волю к сопротивлению. С другой стороны, принудительное поклонение фикциям, при отсутствии какой бы то ни было возможности критики, воспитывает целый ряд нужных большевикам привычных реакций. Привычка повиноваться фикциям в значительной мере определяет не столько чувствования и мышление, сколько непосредственно поведение советских людей, заставляет их не только «с радостью» шествовать к избирательным урнам и покорно совать в них бюллетени, заполненные согласно указаниям блока коммунистов и беспартийных или, вместо отдыха, таскать кирпичи для очередного дворца культуры; привычка повиноваться фикциям дает советским людям возможность, насилуя собственную совесть, «добровольно» проявлять «бдительность», «трудовой энтузиазм», «верность делу Ленина-Сталина» и многое другое, что нельзя заставить делать человека элементарным насилием. Стахановщина в хозяйстве и социалистический реа-

лизм в искусстве основаны целиком на поклонении фикциям.

Не будь умело используемого гипноза мифов и фикций, надо предполагать, что коммунизма давно уже не было бы. В технике сталинского властвования мир иллюзий, мифов и фикций играет огромную, едва ли не главную роль. Роль, может быть, даже большую, чем роль весьма совершенного аппарата насилия и того социального расслоения, которое скрывается под фикцией морально-политического единства советского народа.

Подведем итоги:

Исповедание (а не вера: веры нет) фикций есть важный этап в развитии идеологии, необходимый диалектический момент этого развития. Оно может быть представлено следующей схемой:

1. Традиционно марксистское, революционно социал-демократическое мировоззрение. В нем сильны утопические элементы. Свежа и сильна вера в светлое царство коммунизма. Насилие представляется неустранимым, но всецело оправданным быстрым достижением цели.

2. Ближайшая цель — захват власти — достигнута. Выясняется, что построение социализма не так-то просто, что необходимо применение антигуманных средств во всё увеличивающемся объеме, появляются сомнения в гуманности самой цели. Впервые большевики лишаются возможности говорить всё, что думают. Появляется у них тайный ярус мышления. Появляются мифы, в которые они сами уже не верят и которые служат лишь средством благочестивого обмана.

3. Если насилие до сих пор служило средством для достижения добра, то теперь наступает глубокое сомнение в этом самом добре, а затем и его отрицание (в тайных глубинах души, разумеется). Вырабатывается эзотерическое знание. Фикции делаются совершенно необходимыми, во-первых, как иллюзия достигнутой цели, во-вторых, как средство для прикрытия тайны, в-третьих, как средство психологического насилия. И главное, как

*служение лжи.* Небывалый расцвет фикционализма. Злые средства становятся целью, разумеется, в тайне (вероятно, даже бессознательно).

4. Заключительный этап, который не наступит только в том случае, если человечество найдет в себе силы для преодоления сталинизма. Этот этап будет означать полное воплощение онтологического замысла сталинизма: тотальное властвование над всеми материальными ресурсами нашей планеты, развитие аппарата принуждения, способного в любой момент принудить любого человека к совершению любого действия. Активная несвобода. Такое состояние, при котором мысли, желания и чувства человека перестают играть какую бы то ни было роль в его поведении.

## *Глава 5*

# СИСТЕМА СТАЛИНСКИХ МИФОВ И ФИКЦИЙ

*Краткий анализ главнейших мифов и фикций. Положительные и отрицательные мифы и фикции.*

Не пытаясь исследовать все действующие и действовавшие в СССР мифы и фикции, весь этот иллюзорный и пестрый мир, находящийся в непрерывном калейдоскопическом движении, остановимся на главнейших из них.

Не следует забывать, что все эти мифы и фикции суть оружие сталинизма, иногда почти бутафорское, иногда несомненно действенное. Со священной для большевизма марксистской теорией, с истматом и диаматом они связаны все, одни непосредственно, другие более отдаленно.

Мифы и фикции не одно и то же. Мифы — это те утверждения сталинской псевдорелигии, в которые склонны верить многие как вне, так и внутри СССР. Фикции же это те утверждения, в которые никто не верит, но все в Советском Союзе делают вид, что верят; к этой имитации веры советских людей принуждает страх.

Мифы оказывают на человеческую психику гораздо более глубокое и длительное воздействие, чем фикции. Поэтому партийному руководству, поскольку оно само не верит в создаваемые им мифы и, конечно, не отдает себе ясного отчета в онтологическом значении их для коммунизма, вероятно, хотелось бы, чтобы фикций вовсе не было, а были бы только одни выгодные ему мифы. Вероятно, ему даже кажется, что только там, где это очевидно невозможно, оно вынуждено на худой конец доволь-

ствоваться фикциями. Онтологически это, конечно, не так. По самой своей природе сталинизм, как стремление к активной несвободе и абсолютному властвованию, стремится превратить в фикцию всю духовную жизнь человека. В духовном мире властвование, если оно понимается как принудительное и абсолютное, возможно только фиктивно и над фиктивным подобием мнений и убеждений. Не мифотворчество, а именно создание активной несвободы как системы принудительных фикций соответствует онтологическому замыслу сталинизма.

Созданная в СССР под руководством Сталина система активной несвободы отличается от любой деспотии, от любой формы насильнического властвования прежде всего тем, что в ней легенды, мифы и идеалы, переставая быть объектами веры и благочестивого поклонения, превращаются не в суеверные предрассудки, а в целесообразные фикции. Поведение человека по-прежнему ориентируется ими. Очень часто фикции — это застывший миф. Но многие фикции, особенно более позднего периода, начинают свое существование сразу в качестве фикций. Они нужны руководству именно как таковые, они создаются искусственно, а не возникают стихийно, и цель, ради которой они создаются, обычно совершенно ясна.

Часть мифов и фикций возникают сами собой: теоретические положения перерождаются в мифы, а мифы — в фикции. Другие создаются ради удовлетворения практических потребностей власти: например, миф о гениальности вождя, миф о врагах народа. Неизбежность возникновения таких мифов, теоретически говоря, отсутствует. Наконец, есть мифы, которые стихийно возникают в народном сознании, помимо требований партии, таков миф, что Ленин хотел добра народу или миф об эволюции советской власти. Последний миф, впрочем, можно отнести к третьей группе только с оговорками. За границами СССР он усиленно насаждается органами

советской власти, хотя создан вовсе не ими. В Советском Союзе он, несомненно, продукт народного творчества и властью рассматривается как контрреволюционное измышление, хотя в моменты кризисов власть всегда начинает ему попустительствовать.

Нередко фикции создаются в тактических целях и всецело им подчинены. Но тактические цели и лозунги могут меняться. Тогда и связанные с ними фикции не только перестают быть неприкосновенными, но выбрасываются вон. Такой сменой лозунгов — политических, общественных, научных, в области искусства, всяких — чрезвычайно богата история большевизма. Таковы, например, лозунги советской школы и признание величайшего авторитета за педологией, которая потом была «разоблачена», как «лженаука». Такова концепция исторической школы Покровского, разоблаченная в 1934 году. Таковы многочисленные течения в области литературоведения, театра и искусства. Когда Сталин объявил об обострении классовой борьбы из истории партии исчезли этапы развития, а остались только «загибы», «уклоны», «извращения», «наглые попытки врага захватить важный участок идеологического фронта» и т. д. Но это бывает не всегда. Иногда, обычно в том случае, когда творцом фикции был Сталин или кто-нибудь из его ближайшего окружения, фикция исчезает бесследно, но молчаливо, и считается величайшей бестактностью, почти преступлением вспоминать о том, что она когда-то существовала.

Фикций в СССР великое множество. В отличие от мифов они никогда не возникают в народе, а предписываются властью. Фикции очень разнообразны: это и омертвелые мифы и чистые фикции; фикции еще нужные власти и упраздняемые ею; фикции, предаваемые забвению и фикции нарождающиеся; фикции, охватывающие целые логические построения и фикции выражаемые одним сло-

вом, одним понятием. Если принять эти многочисленные фикции всерьез, то получится совершенно фантастическое понятие о советской жизни. Задачей изучения и первым условием понимания советской действительности является признание этих фикций за то, что они есть на самом деле, то есть за фикции, уяснение их громадного значения в советской жизни и усмотрение условий, из которых эти фикции неизбежно вытекают.

Все большевистские мифы и фикции можно условно разделить на две больших категории: 1) положительные, трактующие о величии товарища Сталина и преимуществах социалистического строя и 2) отрицательные, разоблачающие и клеймящие всё что не нравится Сталину в настоящем, прошлом и будущем.

Остановимся сначала на первой категории.

## 1. Положительные мифы и фикции

*Задача положительных мифов и фикций* — опустошение понятий, означающих противоречащие идее активной несвободы положительные идеалы, превращение таких понятий, как свобода, счастье, гуманность, демократия в понятия фиктивные. Ибо таким образом ликвидируется самая возможность называть происходящее в СССР своими именами, люди теряют способность понимать более глубокий смысл производимого над ними насилия, подлинные ценности духа выступают в качестве проституток, а всякого рода критика — и это практически как раз наиболее важно — становится непринципиальной и может быть легко направлена по заведомо ложным, а следовательно выгодным власти путям. Частные преломления этой задачи станут нам ясны при рассмотрении отдельных, входящих в эту категорию, мифов и фикций.

*Миф о научности большевистской теории.* Весьма распространенное среди советских людей убеждение, если не в истинности, то в научной ценности марксизма имеет своим корнем претензию Маркса на научность своего социализма в противоположность утопическому. Во всех учебных заведениях СССР, начиная с неполной средней школы и кончая Академией Генерального Штаба, утверждение, что истмат и диамат являются абсолютной истиной, повторяется на все лады с гипнотизирующей настойчивостью. У Маркса сказано:

«Подобно тому, как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие».

И далее читаем у Сталина:

«Теоретические основы марксизма-ленинизма — диалектический и исторический материализм, выдержали всестороннюю проверку на опыте Великой Октябрьской Социалистической Революции и строительства социализма в СССР. Это мировоззрение является господствующим на одной шестой части земного шара. Учение диалектического материализма всесильно и верно, потому что дает правильное понимание закономерностей развития объективной действительности. Только революционное мировоззрение марксистско-ленинской партии способно проникнуть в смысл исторического процесса и формулировать боевые революционные лозунги».

Назойливые внушения о научности марксизма-ленинизма-сталинизма вызывают в советском народе, пусть неглубокое, но всё же действительное убеждение в философской солидности диамата. Сколько рьяных противников Сталина до сих пор считают диамат научно-неопровержимым мировоззрением! За диктатуру, террор, пятилетки они обвиняют лично Сталина и его режим, но редко Ленина и тем паче Маркса; в пороках советской действительности диамат, по их мнению, не повинен.

Миф о научной полноценности коммунистической

теории есть реальный, живой, действенный миф — один из психологических столпов режима. Суждения вроде: «свобода есть осознанная необходимость», «религия несовместима с наукой», «история общества есть история борьбы классов» и т. д. крепко вошли в мыслительный обиход среднего советского интеллигента и воспринимаются им как общеизвестные и несомненные истины.

Поколебать доверие к советской власти и к Сталину не только не трудно, но в большинстве случаев и не нужно: доверия этого у советских людей нет. Но выкорчевать веру в научную значимость марксистской философии иногда почти невозможно. Современная советская интеллигенция в большинстве своем знает диамат и истмат (изучению их она должна посвятить немало времени) и на элементарные нападки на это учение имеет готовые, заученные возражения. Так, на обвинение в одностороннем материализме любой «диаматчик» ответит, что основа марксистской философии не простой, а диалектический материализм, ничего общего не имеющий с «механическим» или «вульгарным» материализмом. На указание, что всякая идеология является в духе марксизма лишь пассивной надстройкой над экономическим базисом, что противоречит фактам, придется услышать в ответ, что марксизм-де не отрицает обратного воздействия идеологии на экономику и что субъективный фактор, то есть сознательность имеет огромное значение. — «Исторический материализм подчеркивает огромную социальную роль идей... Этим он отличается от вульгарного экономического материализма». На обвинение в отрицании роли личности в истории диаматчик скажет, что теория стихийности и самотека давно уже признана еретической и что личность, конечно, играет в историческом процессе активную роль.

Словом, рядовой западный антимарксист, незнакомый со схоластическими тонкостями диамата, стал бы в тупик и, возможно, оказался бы побеж-

денным в споре с рядовым, но натасканным диаматчиком.

Смысл мифа о научности марксизма огромен. Он служит теориеобразным обоснованием политики партии во всей духовной жизни страны и запретом всякой свободной мысли, которая таким путем объявляется ненаучной. На нем, в конечном счете, покоится всё здание большевистской духовной жизни.

*Фикционализация истории.* «Краткий курс истории ВКП(б)», вместе с «Краткой биографией И. В. Сталина», с «энтузиазмом» прорабатываемый снова и снова чуть ли не всем населением Советского Союза, постепенно становится символом большевистской историографии. Фикция «подлинной истории» еще не выкристаллизовалась окончательно, но процесс ее становления, подмена исторических фактов мифами и фикциями, пока что плохо увязанными друг с другом и порой даже противоречивыми, зашел уже очень далеко.

Методологическое требование Покровского: «история есть политика опрокинутая в прошлое» формально отвергнуто по причине его обнаженного цинизма, но практически стало руководящей идеей советской историографии. Инстанцией, определяющей, что было и чего не было, что важно и что неважно в историческом процессе стал ЦК ВКП(б) и лично тов. Сталин.

Советская историография не простая фальсификация истории. Это — *фикционализация истории.* В лице руководства партии она присвоила себе право не только искажать и толковать исторические данные, но и отменять исторические факты, подменять действительные события целесообразными мифами и фикциями.

Развитие советской историографии было сложным и многосмысленным. Результат его — перера-

ботка истории, создание новой, фиктивной истории,

удовлетворяющей требованиям сталинизма — далеко еще не достигнут. Но образцы и методы уже созданы. Достаточно рассмотреть хотя бы переоценку значения Троцкого, Зиновьева, Вухарина и многих других старых большевиков в истории ВКП(б) и русской революции и сравнить с действительностью знакомые каждому советскому человеку «Краткий курс» и краткую биографию Сталина.

Конечная цель: отмена действительно бывшего прошлого и замена его фиктивным, объявление бывшего не бывшим и не бывшего бывшим, намечена совершенно ясно. И сталинская историография движется к этой цели всё быстрее и быстрее.

Смысл фикционализации истории двоякий: во-первых, пропагандный — создание у советских людей ложного представления об истории, внушение им мысли об исторической, а следовательно научной оправданности большевизма; во-вторых, запретительный — запрещение действительно заниматься историей, пытаться узнать, что же на самом деле было в прошлом.

Фикционализация истории идет рука об руку с мифом о научности диамата и достигает примерно того же эффекта. Почти все изучающие «Краткий курс» прекрасно знают, что на самом деле все было иначе, но не смеют интересоваться тем, как же оно на самом деле было и, довольствуясь явной фальшивкой, привыкают обходиться без истории, воспринимать происходящее не как результат многогранного и сложного исторического процесса, а как эманацию абсолютно безошибочной воли вождей, сопротивляться которой бессмысленно.

*Миф об осуществленном социализме.* Этот миф усиленно культивируется пропагандой, ибо он есть основа таких нужнейших фикций, как морально-политическое единство советского народа, подлинный демократизм советского строя, счастливая зажиточная жизнь и т. д.

В самом деле, с официальной точки зрения, какое же может быть тут сомнение. Революция победила, классы в капиталистическом смысле слова ликвидированы, классовые противоречия исчезли. В СССР еще существуют классы, но это уже не антагонистические, а дружественные классы.

Это положение является именно мифом, а ни в коем случае не пустой фикцией. Не подлежит сомнению, что значительная часть советского населения более или менее глубоко верит, что советский строй это действительно социализм. Не коммунизм еще, обещающий осчастливить человечество, но первая его фаза, осуществленная в условиях капиталистического окружения. Подсоветский человек нередко убежден в том, что социализм в СССР по меньшей мере в основном построен. И если он враждебен этому социализму (и всякому: другого он себе не представляет), то потому, что знает ему цену — цену крови и слез. И с социализмом этим он будет бороться не как с вымыслом, а как с подлинной реальностью.

*Морально-политическое единство советского народа* есть уже фикция чистой воды. Она вытекает из мифа о построенном социализме. В СССР нет, согласно этому мифу, антагонистических классов, а есть только дружественные классы рабочих, крестьян и интеллигенции; впрочем, интеллигенцию, чтобы соблюсти марксистскую классификацию, полагается считать не классом, а прослойкой между классами. Выражается морально-политическое единство советского народа в факте (вполне фиктивном) существования блока коммунистов и беспартийных и в картине советских выборов, на которые являются 99% избирателей и 99% явившихся голосуют за блок. Блок между действительно существующей организацией коммунистов и беспартийными, лишенными какой бы то ни было организации, никак организационно не офор-

млен. Картина поголовного шествия к урнам обеспечивается мероприятиями полицейского стиля и не представляет сколько-нибудь сложной задачи в условиях СССР. Единодушие голосования обеспечивается тем, что имеется только один кандидат, имя которого напечатано на избирательном бюллетене. Остается бросить этот бюллетень в урну. «Не голосование, а голое сование» — сказал чей-то злой язык. Есть, правда, еще возможность зачеркнуть имя кандидата, перед тем, как сунуть бюллетень в урну. Безрезультатность этого жеста, страх перед всевидящей властью, сомнительная тайна голосования, все это приводит к тому, что избиратель покорно подчиняется комедии выборов. Он стольким комедиям подчиняется, что одной больше или меньше для него не имеет значения. Впрочем, поскольку подсчет поданных голосов производится целиком силами «блока коммунистов и беспартийных», правильность его с полным основанием может быть взята под сомнение.

Почему при наличии морально-политического единства советского народа государство нуждается в колоссальном аппарате государственной безопасности, почему в тюрьмах и лагерях находятся миллионы граждан, причем этим не исчерпывается число репрессированных, почему существуют каторжные законы о труде и охране колхозного имущества от колхозников, почему пропаганда ведет неустанную борьбу по разоблачению летунов, лодырей, рвачей и прогульщиков, — все эти вопросы задавать в Советском Союзе невозможно и бесполезно.

Фикция морально-политического единства определяет поведение массы населения СССР в направлении, нужном власти. Но это поведение — результат дрессуры, это террористически прививаемая населению система условных рефлексов. Это очень большая сила, в особенности опасная потому, что она не встречает прямого противодействия. Недоо-

ценивать ее, а тем более игнорировать, было бы большой ошибкой. Но сила эта мгновенно умирает, как только исчезает советская власть. Во время немецкой оккупации от морально-политического единства советского народа не осталось и следа. Последние машины с советским руководством отъезжали под иронические замечания толпы. Этого мало. Сейчас же рождалась потребность в общении, в свободном обмене мыслей, в организации. Правда, это стремление не могло осуществиться в условиях гитлеровской оккупации.

*Самая демократическая в мире конституция.* Конституция эта, содержащая ряд демагогических элементов, совсем не демократична, хотя бы уже потому, что она устанавливает господство одной партии и исключает всякую оппозицию. После этого все слова о свободах или независимом суде остаются только словами. Конституция не дает советскому человеку никаких реальных прав. В ней содержится ряд заведомо ложных утверждений, например, о неприкосновенности личности и жилища. В ней ни слова не говорится об огромной роли политической полиции, фактически распоряжающейся жизнью и имуществом советских граждан. Ни слова не говорится о принудительном труде репрессированных граждан, о способе вербовки рабочей силы посредством плановых репрессий.

Словом в СССР есть как бы две конституции: «самая демократическая в мире» — абсолютно фиктивная и реальная, никогда не формулируемая, по которой действительно живет страна. Фикция конституции нужна отчасти для демагогического воздействия на массы несоветского мира. Там эта конституция еще миф. В России она очень скоро стала чистейшей *фикцией, являющейся условием невозможности для советского гражданина требовать* себе *какие* бы то *ни* было *права*. В этом основной смысл ее существования.

*Принцип вознаграждения по труду.* Согласно этому принципу вознаграждение за труд в условиях построенного, в основном, социализма производится не на основании уравниловки, а в соответствии с количеством и качеством затраченного труда и с таким расчетом, чтобы и неквалифицированные труженики были обеспечены прожиточным минимумом. Этот способ вознаграждения способствует чрезвычайному подъему производительности труда, что приближает построение коммунистического общества, где от всякого будут требовать по способностям и каждому давать по потребностям. Таким образом, принцип вознаграждения по труду, диалектически развиваясь, придет, в конце концов, к собственному отрицанию. Путь к коммунистическому распределению лежит через принцип вознаграждения о труду.

И эта фикция не имеет ничего общего с действительностью. В СССР фактически господствует принцип оплаты труда не по его количеству и качеству, *а по степени его важности для власти и укрепления режима активной несвободы.* Поэтому выше всего оплачивается труд чекистов, занимающих высшие командные посты, а в значительной мере и средние. На втором месте стоят прославленные писатели и артисты, служители активной несвободы. За ними — ученые и конструкторы, работа которых имеет решающее значение для решения военно-технических проблем. Близко к ним стоят верхи генералитета и крупнейшие военные специалисты. Далее следуют крупные партийные и советские работники, а равно начальники строек и директора предприятий, но отнюдь не все, а проявившие организационные способности в специфически советском понимании этого слова. Затем идет верхушка стахановцев, деятельность которых ценится совсем не по ее непосредственному производственному результату, а по созданным ею возможностям эксплуатации рабочих. Интеллигентный труд, например, труд вра-

чей, расценивается весьма низко. Это понятно: непосредственно для укрепления режима активной несвободы он значения не имеет.

Смысл фикции вознаграждения по труду не только тот же что и фикции советского демократизма и многих других сталинских фикций — уничтожение самой возможности анализа действительного положения вещей, — фикция «вознаграждения по труду» имеет и еще одну не менее важную задачу: оправдание того экономического неравенства, от которого страдает большинство членов «построенного в основном социалистического общества».

*Счастливая и зажиточная жизнь.* Эта фикция на первый взгляд представляется особенно нелепой. «Жить стало легче, жить стало веселей» — это Сталин провозгласил, когда Россия была усеяна неубранными трупами. В этой фикции отразилась с предельной наглядностью основная особенность сталинского типа мышления — способность, не теряя рассудка, объявлять черное белым, а белое черным. В формуле Сталина совершенно ясно желание подменить действительность фикцией. Счастливая и зажиточная жизнь в Советском Союзе не постулируется как идеал, а утверждается как факт. Хроническое недоедание, тяжелые бытовые условия, бесправие, атмосфера террора, насилие над неистребимым инстинктом природы (инстинктом свободы и собственности), тяжкие душевные травмы, которыми поражено население — такова действительность. Этой действительности противостоит фикция счастливой и зажиточной жизни.

От населения требуется определенное отношение к этой фикции. Не выражать против нее протеста совершенно недостаточно. Надо ее активно исповедовать. Это делается в бесчисленных коллективных благодарностях Сталину за счастливую жизнь. Это делается на демонстрациях, на которых люди не

должны ограничиваться прохождением мимо трибун, на которых стоят вожди, но должны песнями, плясками и сияющими лицами выражать лозунг: «Спасибо тов. Сталину за счастливую жизнь!»

Фикции вовсе не только проявление, но и активная сила режима активной несвободы. В частности, фикция счастливой и зажиточной жизни не только вдалбливается в мозги советских обывателей гигантским агитационным аппаратом, но и громогласно, хотя и поневоле, исповедуемая народом, служит достижению трех целей:

1. она запрещает советскому человеку жаловаться на тяготы своей жизни,

2. она способствует развитию психологии роботов, существ, способных воспринимать свое положение как должное, мириться с ним и даже находить в нем некоторое удовлетворение,

3. исповедание фикции парализует у населения остатки воли к сопротивлению.

Люди, которые не смеют быть угрюмыми и молчаливыми, которые должны искажать лица гримасой радости, благодарить советскую власть за счастье цвести под солнцем Сталинской конституции, — а для этого требуется немало душевной энергии, — эти люди постепенно теряют всякую способность к искренней вере и с нею вместе всякую способность к сопротивлению.

*Миф об СССР как самой передовой стране в мире* важен в двух отношениях. Во-первых, он оправдывает положение марксизма о высоком типе социалистической культуры. Во-вторых, он постулирует любовь советского человека к родной пролетарской власти и к социалистическому отечеству.

Положение об СССР как самой передовой стране в мире — не фикция, а миф. Несмотря на свою

явную, видимую для каждого советского человека нелепость, оно остается психологической реальностью, потому что создает иллюзию «нас возвышающего обмана», условную компенсацию мучительно переживаемой неполноценности советского человека. Миф этот апеллирует к национальному самолюбию и в среде людей, постоянно и жестоко унижаемых, именно поэтому оказывается чрезвычайно жизнеспособным. Миф этот повышает самосознание советского человека. А поскольку в нем отражается, кроме того, и верно улавливаемое, хоть и неверно толкуемое, явление роковой дефектности современной европейской культуры, ее сенсуалистического эвдемонизма и переживаемого сейчас кризиса всего европейского мироощущения, миф о превосходстве советского строя начинает восприниматься, как условная формулировка некоторого действительного превосходства. Превосходство это заключается в том, что издавна свойственная русскому человеку приверженность к идее служения надличным ценностям продолжает жить и в советском человеке. Советский человек глубоко убежден, что несмотря на всю ложь, которой окружила его сталинская пропаганда, он должен жить и работать для какого-то общего блага (для государства, для общества, для будущих поколений — это свое убеждение он выражает обычно неясно и всегда в ложных формулировках). Сталкиваясь с западноевропейцем, он видит, что последний, в подавляющем большинстве, работает лишь для себя и своей семьи и считает это совершенно нормальным. Это наблюдение приводит всякого русского человека, в том числе и сознательно ненавидящего большевизм, к выводу, что советская культура, по крайней мере в этом плане, выше западноевропейской.

Миф о том, что Советский Союз самая передовая страна в мире, один из важнейших, центральных мифов, позволяющих коммунистам эксплуатировать русское национальное самосознание.

*Социалистический гуманизм.* Это одна из самых бесстыдных фикций. Она заключается в утверждении, что существуют два гуманизма:

1. западноевропейский, лживый и лицемерный или в лучшем случае абстрактный, бессильный и мечтательный и

2. советский, жизненный, подлинный, мощный и прекрасный.

Согласно теории, советский гуманизм заключается в активной и творческой любви к людям. Это не филантропический гуманизм. Он дает человеку все возможности для творческого раскрытия его личности и требует от него творческой работы. Он освобождает его от предрассудков и духовного рабства, делает его свободным и открывает перед ним бесконечные перспективы. В то же время этот гуманизм суров: он понимает, что не бессильной проповедью любви и всепрощения, а беспощадной борьбой против всех остатков рабства можно добиться свободы человечества. Гуманизм этот нежен к трудящимся и беспощаден к их врагам. «Если враг не сдается, его уничтожают», так сказал Горький — пророк социалистического гуманизма. Этот гуманизм жесток, но жестокость его оправданна. Она не что иное, как форма высшей любви к людям. Социалистический гуманизм творит нового человека, качества которого: верность, мужество, способность к творческому труду, неисчерпаемая жизнерадостность, свобода, радостная слиянность с коллективом и пышным цветом расцветшая индивидуальность.

У человека, знающего советскую действительность, получается впечатление, что эта фикция создана посредством отталкивания от реальных черт социалистического общества. Советский гражданин — раб, всегда подозреваемый в контрреволюции или, по крайней мере, в пережитках капитализма в сознании. Его всегда контролируют, за ним всегда шпионят. Все его добродетели ему предписаны и

регламентированы. В глазах советской власти он преступник, по крайней мере потенциальный. Он может быть арестован и сослан без всякой вины и даже без подозрений. Уважения к человеческой личности в СССР нет; напротив, есть самое крайнее, иногда демонстративно выражаемое презрение. Предательство, сексотство, доносы всячески поощряются. Люди не доверяют друзьям, близким, собственной жене. Врагов в прежнем смысле слова, то есть врагов классовых, давно нет в СССР, но советская власть истребляет трудящихся, справедливо полагая, что всё население России — ее враги.

Словосочетание «социалистический гуманизм» родилось как раз тогда, когда перерождение этики коммунистической идеи в этику активной несвободы и абсолютного властвования было в основном закончено. Социалистический гуманизм возник сразу в качестве фикции. И фикция эта имела только один смысл: выхолостить самое понятие гуманизма, лишить его всякой притягательности, всякого пафоса. Социалистический гуманизм — псевдоним величайшего насилия над человеком, больше того — приказ вообще забыть о человечности.

*Свободная наука.* Согласно официальному утверждению наука и искусство не просто свободны в СССР, но только в нем они и свободны. Потому-то они и являются самыми передовыми в мире. Больше того: наука и искусство собственно только в СССР и существуют. Буржуазная наука разлагается, так как она служит умирающему классу. Она не знает метода диалектического материализма и загнивает.

Несомненно, было время, когда большевики верили в это. Теперь, конечно, не верят, но с тем большей настойчивостью продолжают повторять это положение и требуют хотя бы фиктивного его признания.

В последние годы сталинщины был выработан так называемый «моральный кодекс советского ученого», согласно которому научный работник в СССР должен непременно стоять на партийных позициях и уметь научно обосновать правильность любого мероприятия партии и правительства, непременно бороться с безродным космополитизмом и низкопоклонством перед иностранщиной в своей специальности, непременно вести борьбу против чуждых идеологий, бдительно следить и беспощадно, не взирая на лица, разоблачать малейшие попытки протащить в советскую науку буржуазные идейки и теорийки, непременно содействовать разрешению текущих задач социалистического строительства, подчиняя логику исследования в естественных науках — техническим, а в гуманитарных — пропагандным требованиям момента.

В результате этого «кодекса» *гуманитарные науки в СССР превратились в подсобный аппарат по производству мифов и фикций, а науки естественные используются лишь как основа для развития техники, которая в свою очередь ставится на службу укреплению и расширению абсолютного властвования.*

*Миф о «своей» власти.* В миф о «своей пролетарской» власти в СССР теперь уже мало кто верит. Это миф умирающий, почти застывший в неубедительную официальную фикцию.

Власть мирится с этим фактом. Мирится прежде всего потому, что сама она целым рядом мероприятий обнаружила всю иллюзорность этого мифа. До начала тридцатых годов большевики прилагали немало усилий, чтобы укрепить этот миф, усиленно подчеркивая пролетарские элементы своего стиля и по мере сил обеспечивая привилегиями общественные низы. С появлением советской знати, с появлением и усилением в советской жизни сословных тенденций, отнюдь не рабоче-крестьянское су-

щество советской власти обнаружилось совершенно ясно для всего народа.

Остались до сих пор кое-какие пролетарские элементы в стиле, создалась чисто декоративная знать пролетарского происхождения, осталась теперь уже катастрофически суживающаяся возможность для каждого рабочего и крестьянина через ряды этой знати подняться на вершины советской жизни, осталось пролетарское в большинстве случаев происхождение современной советской интеллигенции, но и только. Миф о «своей пролетарской» власти, на наших глазах все более заменяется фикцией власти «родной и народной». Большевики тем сильней за нее хватаются, чем более уходит из-под их ног гораздо более плодородная почва верообразного мифа. Уже 27 июля 1937 года нарком внутренних дел Н. И. Ежов на заседании президиума ЦИК СССР произнес речь, в которой, между прочим, было сказано:

«В мире нет ни одного государства, где бы органы государственной безопасности, органы разведки были так тесно связаны с народом, так ярко отражали бы интересы этого народа, стояли бы на страже завоеваний народа. В капиталистическом мире органы разведки являются наиболее ненавистной частью государственного аппарата для широких масс трудящегося населения, поскольку они стоят на страже интересов господствующей кучки капиталистов. У нас, наоборот, органы советской разведки, органы государственной безопасности стоят на страже интересов советского народа. Поэтому они пользуются заслуженным уважением, заслуженной любовью советского народа».

Эта весьма типичная речь была произнесена в разгаре «ежовщины», а ежовщина была самой жуткой, самой кровавой из всех чисток, которые когда-либо проводились в Советском Союзе. Шли процессы против старой ленинской гвардии, не менее 50% командного состава Красной армии было арестова-

но в качестве врагов народа, трудно было в СССР найти семью, из членов которой никто не был бы репрессирован. Ежов в своей речи не упомянул о нежной любви народа к нему лично, но советская печать кричала об этой любви чрезвычайно громко, а у советского народа вымогали недвусмысленные проявления этой любви: Ежов был выдвинут и избран в члены Верховного совета СССР; во многих резолюциях население выражало восторг перед его деятельностью и одновременно надежду, что она будет проводиться с еще большей энергией. Некоторое время спустя обожаемый нарком сам был арестован и вскоре погиб в своих собственных застенках в качестве врага народа. Его имя и портреты вдруг исчезли из обращения и страстная любовь к нему широчайших народных масс была предана молниеносному забвению. Фикция любви лично к Н. И. Ежову была уничтожена, но фикция любви к «родной и народной власти» и ее карательным органам осталась и существует доселе. Для немногих, может быть, еще как миф, для большинства как фикция.

*Любовь трудящихся к социалистическому отечеству.* Эта фикция, вместе с фикцией трудового энтузиазма всего советского населения, венчает собой всё здание положительных мифов и фикций, созданных сталинизмом. Согласно этой фикции трудящиеся СССР любят свое отечество именно за его социалистическую сущность: за солнечную Сталинскую конституцию, социалистический гуманизм, колхозный строй, счастливую и зажиточную жизнь и все прочие достижения социализма. Именно для такого отечества трудящиеся рады приносить какие угодно жертвы в мирное и особенно в военное время. Любовь к социалистическому отечеству и к своей родной и народной власти побуждает их с восторгом принимать и выполнять пятилетку за пятилеткой, записываться в ста-

хановцы и перевыполнять среднепрогрессивные нормы. Любовь к социалистическому отечеству побуждает приветствовать военный бюджет СССР и восторженно крепить Советскую армию. Любовь к социалистическому отечеству побуждает советских людей ненавидеть капиталистическое окружение и, будучи исполненными миролюбия, не отступить в случае необходимости и перед третьей мировой войной.

Что патриотизм в современной России существует и проявляется как действенная сила — несомненный факт. Во время второй мировой войны партийной пропаганде удалось (благодаря Гитлеру) внушить большому числу советских людей (далеко не всем, ибо армия Власова тоже была патриотической армией), что они должны защищать советскую власть, если хотят избежать германской колонизации. Защита советской власти в этом ходе мысли — и Сталин это, конечно, понимал — фигурирует лишь как, к сожалению, необходимое условие обороны России. Лозунг военного времени: «За родину! За Сталина!» представляет собой механическое соединение выражения подлинного чувства («За Родину») с фикцией («За Сталина»).

Производимое здесь подвешивание фикции к действительному чувству не заставляет, конечно, советского воина любить Сталина, но принуждает его все же с ним мириться. Этот психологический эффект очень нужен власти: он не дает возможности враждебной реакции на советский патриотизм. Фикция любви к социалистическому отечеству оказывается целесообразной не только в качестве обоснования для фикции трудового энтузиазма, преданности партии и правительству и т. п., но и сама по себе в качестве одного из немногих оставшихся в руках большевизма пропагандных средств.

*Трудовой энтузиазм советского народа.* Одно из самых ярких проявлений актив-

ной несвободы. Оно заключается в том, что с энтузиазмом подхватывая инициативу своих передовиков и новаторов, беззаветно преданных строительству социализма и умело и мудро руководимых коммунистической партией и лично товарищем Сталиным, все население страны дружно требует выполнения пятилетки в четыре, а потом в три с половиной года, требует повсеместного введения среднепрогрессивных норм и их дальнейшего повышения, массового внедрения стахановских методов, партийного контроля и всяческих мероприятий, которые должны способствовать всемерному росту производительности труда. Деревенское население, например, ко всем тяготам колхозной жизни спешит прибавить массовую постройку электростанций местного значения и на базе местных материалов, без всякой помощи со стороны центра. Но населению и этого мало: оно добровольно и по собственной инициативе выходит на рытье каналов и проведение железных дорог. Трудовой энтузиазм и на этом не останавливается: каждый день поднимаются все новые и новые его волны. Фикция эта — мука для населения и воспринимается им в полном соответствии с действительностью как прием дополнительной эксплуатации с помощью активной несвободы.

*Фикция трудового энтузиазма* по существу есть *приказ каждому советскому человеку работать до полного истощения сил, не поднимая даже вопроса о «гарантированных» ему «законом» трудовых нормах.* Пропагандное значение ее в настоящее время равно нулю. Зато экономическое значение огромно, ибо на ней основаны вполне реальные мероприятия по выполнению встречных планов, социалистическому накоплению и т. д.

*Ломка устарелых норм и слепота специалистов.* Эта фикция, теснейшим образом связанная с фикцией трудового энтузиазма, на-

зывается также «поражением предельщиков». «Предельщиками» были названы люди, которые утверждали, что существуют научно установленные технические нормы: например, сопротивления материалов, нагрузки на двигатель и т. д. Нарушение этих норм без одновременного проведения технической реконтрукции на основе новых изобретений нерационально, а в отдельных случаях может оказаться и опасным.

Этот тезис был объявлен «предельщиной», вызванной косностью и слепотой специалистов, и ему была противопоставлена фикция возможности безнаказанного нарушения технических и технологических норм. При этом речь шла вовсе не о научной проверке норм и установлении новых, научно обоснованных, а об эмпирической ломке, совершаемой по вдохновению некомпетентными и безответственными людьми до пределов, которые никто не позаботился установить. Создателем фикции был Л. М. Каганович, занимавший в первой пятилетке пост наркома путей сообщения. С помощью своих энтузиастов он «революционным порядком», ссылаясь на массовый подъем трудового энтузиазма и инициативу передовиков социалистического производства, ломал нормы вопреки «слепым специалистам», которых массами репрессировало за слепоту НКВД, и хвастался достигнутыми на транспорте успехами. Успехи действительно были. Достигались они очень просто. Нормы «слепых специалистов» устанавливались ведь с известной поправкой, с запасом, который должен был служить гарантией против возможности катастроф. Вот этот запас и снимал начисто Каганович, что и позволило ему поднять нагрузку и увеличить скорость на железнодорожном транспорте. Но это же привело и к колоссальному росту катастроф. Непосредственный вред от ломки устарелых норм был необъятно велик, но политико-экономическая задача, которую ставила себе фикция Кагановича, была разрешена: перевозки увеличены.

Причиненные же разрушения восстанавливались всю вторую и третью пятилетки.

Фикция эта ныне забыта, но в свое время она существенно дополняла фикцию трудового энтузиазма, ибо она есть *приказ работать, не считаясь уже не только с правовыми, но и с техническими нормами.*

Это далеко не полный перечень фикций. Их имеется еще великое множество. Тут и сталинская забота о человеке, и добровольное объединение крестьян в колхозы, и «труд дело чести, дело славы, дело доблести и геройства», и обожание вождя, и внутрипартийная демократия, и советская общественность, и счастливое детство в СССР, и еще и еще, без конца.

Всех не перечислить; упомянем еще лишь об одном весьма своеобразном и чрезвычайно интересном мифе, мифе эволюции большевизма к гуманности, праву и демократическому строю. Высказывать в Советском Союзе этот миф открыто, значит совершить вылазку классового врага и контрреволюционный выпад, который не может не привлечь к себе внимания органов. Но за границей именно этот миф усиленно распространяется советской агентурой, где, впрочем, и принимается некоторыми эмигрантскими и иностранными кругами.

## 2. Отрицательные мифы и фикции

До сих пор речь шла о мифах и фикциях, рассчитанных на возбуждение искусственного энтузиазма и маскирующих пропасть, отделяющую советскую жизнь от действительного воплощения коммунистических идеалов.

Но есть еще и отрицательные мифы и фикции, апеллирующие к ненависти и совершенно необходимые в системе сталинизма. Цель отрицательных мифов стимулировать силы ненависти и направить народный гнев с советской власти на иные объекты.

Наиболее важной в этой категории является группа мифов и фикций, воспитывающих ненависть к несоветскому миру и оправдывающих террор. Это суть: миф о капиталистическом окружении, миф о врагах народа, миф о неизбежной войне, фикция народного гнева, фикция бдительности, фикция критики и самокритики.

*Миф о капиталистическом окружении.* Общеизвестно, что еще Маркс и Энгельс призывали к мировой революции и делали ставку именно на нее. Ленин, создавая свою теорию слабейшего звена в цепи капитализма, уже понимал, что пролетарская революция ни в коем случае не разразится сразу во всем мире, но продолжал мечтать о том, что совершаемая им революция в России явится преддверием революции мировой. Он, правда, вынужден был допустить временное существование социализма в одной стране, но эта сторона его учения не была им развернута и обоснована. Заслуга развития учения о построении социализма и даже коммунизма в одной стране принадлежит уже Сталину. Но и при этом коммунизме сохранится государство.

«Мы идем дальше вперед к коммунизму, — объявил Сталин XVIII съезду ВКП(б). — Сохранится ли государство у нас также в период коммунизма? Да, сохранится, если не будет уничтожена опасность военных нападений извне... Нет, не сохранится и отомрет, если капиталистическое окружение будет ликвидировано, если оно будет заменено окружением социалистическим».

Не стоит терять слов о том, что капиталистического окружения в смысле враждебного СССР блока никогда не существовало. Положения сталинской доктрины никогда и не стремятся отразить истинное положение вещей. Их задача совершенно иная: они — «оружие в борьбе за дело рабочего класса», или, что гораздо точнее, за дело Политбюро ЦК ВКП(б), за дело Ленина-Сталина, а в плане этой

задачи значение мифа о капиталистическом окружении совершенно фундаментально, ибо этот миф не что иное, как приказ готовиться к «последней и решительной схватке с мировой буржуазией». Миф о капиталистическом окружении — идеологическая основа для целого ряда мифов и фикций, в том числе для всех, касающихся работы политической полиции.

Учение о капиталистическом окружении не просто фикция, то есть своеобразная форма приказа о подготовке к войне. Учение о капиталистическом окружении — миф, то есть психологическая реальность как для значительной части советского населения, так и для самих творцов советской политики. Это одно из немногих идеологических положений, в которое сам Сталин, а вместе с ним Молотов, Берия, Маленков и другие члены Политбюро, по-видимому, серьезно верили. Но в этот миф, несомненно, верили и широкие советские массы, в частности же Советская армия. Перед вступлением СССР в войну, особенно когда по официальной терминологии «англо-французский империализм схватился с миролюбивой Германией», миф о капиталистическом окружении довольно быстро стал перерождаться в фикцию. Но восточная политика Гитлера влила в него новые силы, а захват половины Европы и столкновение с европейской жизнью еще усилили процесс его регенерации.

Существует два психологических фактора, питающие миф о капиталистическом окружении: сознательный и подсознательный. Сознательный фактор — совершенно понятное стремление власти путем пропаганды этого мифа мобилизовать свое население для схватки с Западом. Подсознательный фактор коренится в той мании преследования, которой одержим сталинизм. Именно в силу этой мании, миф о капиталистическом окружении даже в самом Политбюро, а тем более в среде работников службы

государственной безопасности, — предмет веры, с которой надо считаться.

Миф о капиталистическом оружении представляет собой доктринерский фундамент для всей советской внешней политики. Запрещение какого бы то ни было общения с несоветским миром, воспитание ненависти к нему, подготовка к войне с ним и глубинное обоснование психоза бдительности, столь характерного для всей деятельности партии и органов государственной безопасности — вот непосредственный и исключительно важный эффект мифа о капиталистическом окружении.

Миф о капиталистическом окружении имеет корни не только в советской пропаганде и возник не только в представлении людей, советски настроенных. Люди, антисоветски настроенные, не менее охотно приняли и даже способствовали созданию этого мифа. При этом они исходили из веры в мировую совесть и в разум руководителей небольшевистского мира. «Они видят, какие у нас происходят ужасы, и они должны придти и спасти нас», так одно время мыслили и верили многие, из ненавидящих советскую власть. «Они не могут не понимать, что, если сейчас не расправиться с большевизмом, то через несколько лет большевизм сам задушит и поглотит их, а потому они должны готовиться к войне с Советским Союзом». Таким образом, всякий намек советской пропаганды на капиталистическое окружение, на возможность «крестового похода на СССР» радостно воспринимался известной частью населения и содействовал укреплению мифа.

*Миф о неизбежной войне.* Особо стоит вопрос о новейших сталинских мифах, только формально связанных с марксистской теорией, но прямо вытекающих из мифа о капиталистическом окружении. Таков миф, в первую очередь, о том, что СССР вынес на своих плечах главную тяжесть второй мировой войны, что он один является подлинным по-

бедителем в этой войне и что военная роль западных союзников была ничтожной. Далее, миф о советской власти и Советской армии, как освободительнице народов восточной Европы (пока) из-под фашистского ярма.

Особо в этом ряду стоит миф о назревающей последней и решительной схватке стран лагеря социализма со странами, находящимися под владычеством «акул Уолл-стрита». Этот миф — логический вывод из мифа о капиталистическом окружении. Недаром именно в послевоенное время, наряду с темой советского патриотизма и игрой на национальных чувствах, главным образом великоросса, снова зазвучали мотивы пролетарского интернационализма. И противопоставление советского западному, подменное во время войны противопоставлением русского немецкому, стало все более уступать место противопоставлению коммунизма капитализму. В последние годы сталинщины советская пропаганда снова начала приближаться к тонам марксистского мессианизма, замершим было в тридцатые и военные годы. Различие здесь лишь в том, что нет былой ставки на внезапную мировую революцию. Эта утопическая надежда уступила место более реальной ставке на военную мощь СССР.

Упомянем еще об одном курьезном парадоксе советской пропагандной мифологии.

Во время и до германо-советской войны советская пропаганда представляла германский фашизм как особую форму капитализма, изображая Гитлера в качестве наемника германских тяжелых промышленников. Когда же единственным соперником на мировой арене остались западные демократии, советская пропаганда усиленно клеймит американские правительственные круги, западно-германскую государственность, а заодно и английских лейбористов словечками «реакционеры» и «фашисты».

Эта игра понятий, логически не выдерживающая никакой критики и сама себе противоречащая, впол-

не целеоправдана, ибо у рядового советского гражданина нет никаких враждебных чувств по отношению к капитализму, но в результате войны с Германией появился сильно развитый комплекс вражды к фашизму. Этот комплекс и должен быть обыгран.

*Миф о врагах народа.* Миф о врагах народа является основным для работы органов государственной безопасности СССР. По своей психологической структуре он вполне подобен мифу о капиталистическом окружении и логически из него вытекает. Он имеет свою подсознательную основу в уже отмеченной нами выше сталинской мании преследования, сознательно же используется для полного уничтожения всех действительных и потенциальных врагов советского режима. Ярлык «врагов народа» большевики приклеивают всем, неугадавшим очередной поворот генеральной линии партии, а также всем стихийно сопротивляющимся противоестественным и антинародным мероприятиям власти.

По существу миф о врагах народа преследует две цели: 1) цель оправдания советской власти и 2) цель мобилизации всего советского народа на службу государственной безопасности.

*1) Оправдание советской власти.* Вина за все лишения и гнет, который должен терпеть народ под властью Сталина, сваливается на «врагов народа», «контрреволюционеров», «социалпредателей», «внутренних фашистов», «наемников иностранных разведок», «вредителей», «саботажников», «диверсантов» и т. д. и т. п. Теоретически виновниками здесь оказываются пережитки капитализма в сознании: «пережитки капитализма в сознании отсталой части трудящихся, прежде всего, проявляются в форме несоциалистического отношения к труду, когда действуют по старому принципу: дать государству похуже и поменьше, а взять от него получше и побольше. Все эти, как и другие пережитки капитализма — национальная рознь, великодержавный

шовинизм, невежество, безкультурье, индивидуализм, эгоизм и т. д. — тормозят движение вперед, задерживают темпы строительства коммунистического общества, являются питательной почвой для возникновения всякого рода антинародных действий против социализма».

Практически, однако, эта теория не имеет никакого значения, если не считать того факта, что в технике сталинского репрессирования лица, в сознании которых можно с наибольшей вероятностью ожидать пережитков капитализма, репрессируются уже заранее, можно сказать «в кредит», независимо от совершения ими действительных преступлений. Миф о врагах народа, постоянно подрывающих устои социалистической государственности и сводящих на нет все достижения советской власти, с одной стороны, оправдывает, таким образом, все неудачи и провалы социалистического строительства и делает понятным и естественным царящий в стране террор, с другой стороны —

*2) мобилизует все население на службу государственной безопасности.* Совершенно ясно, что раз отечество всех трудящихся, Советский Союз, со всех сторон окружен врагами и вся жизнь его насквозь пронизана деятельностью вольных и невольных пособников мировой буржуазии, чуть ли не сводящих на нет все достижения бесконечно благого Сталина, его партии и правительства, то каждый советский гражданин как верный сын морально-политически единого советского народа, обязан постоянно быть бдительным, внимательно следить за происходящими вокруг него происками врагов и помогать органам государственной безопасности вовремя обнаруживать и пресекать эти происки.

*Фикция бдительности.* Фикция бдительности есть не что иное, как приказ всему населению СССР активно участвовать в работе органов государственной безопасности, приказ, позволяющий по-

следним не только с идеологическим обоснованием вербовать огромную армию секретных агентов, но, что еще гораздо важнее, использовать для своих целей любую партийную или советскую организацию.

Фикция бдительности — прямой вывод из мифа о врагах народа. Именно она претворяет его в жизнь. «Большевистская бдительность» не пропагандный лозунг. Это действительная основа сталинской службы государственной безопасности. Благодаря ей в работе политической полиции теоретически должен был бы принимать участие весь рабочий класс, или, в результате построения социализма, весь морально-политически единый советский народ. Дело Павлика Морозова, предавшего собственных родителей «мечу пролетарского правосудия», расценивается поэтому как «дело чести». Весь советский народ-пролетариат стоит на страже своих интересов, представляющих одновременно интересы угнетенных всего мира, и совершенно естественно, что делом чести каждого советского человека является донос пользующимся его безграничным доверием, любовью и уважением карательным органам о замеченных им происках врагов социалистического государства. Официально в СССР считается, что борьба с контрреволюционными, фашистскими, или реакционными элементами, ведется силами всего народа, возглавляемого Сталиным, партией и созданным ею советским правительством и органами государственной безопасности.

Совершенно ясно, что теория эта — чистейшая фикция. Но совершенно ясно также, что она крайне нужна советской власти. Нужна по следующим причинам.

1. Фикция бдительности дает широко применяемую во все время существования советской власти возможность не только считать недоносительство тяжким преступлением, но и требовать осведомительной службы от любого советского гражданина

как в пределах Советского Союза, так и за его границами, расценивая отказ или нерадение к ней, как невыполнение гражданского долга. Политическая полиция СССР вербует, таким образом, без отрыва от основной работы своих секретных сотрудников везде, где сочтет это целесообразным, квалифицируя попытки отказа как нелояльное отношение к советской власти, за которым естественно должны следовать репрессии. Под знаком бдительности она привлекает к своей работе почти поголовно всех членов партии (в различных формах, конечно), руководителей профессиональных и общественных организаций, выбирая параллельно из всей массы советских граждан тех, кто кажется ей подходящим.

2. Фикция бдительности дает большевикам драгоценную возможность рассматривать не только случайных доносчиков, но и всех работников государственной безопасности, включая сексотов, как особо достойных сынов советской Родины, что должно положить конец сложившемуся в дореволюционном российском обществе прямому презрению к жандармерии, а тем более к «охранке», неуклюже отправлявшей в то время функции политической полиции.

*Фикция народного гнева.* Эта фикция была создана еще в 1918 году с целью формально оправдать систему террора, планомерно развиваемую большевиками. Фикция эта развивалась вместе с развитием «разящего меча пролетарской диктатуры»: Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Согласно ей ВЧК только канализовала справедливый гнев трудящихся масс против своих поработителей, гнев, который без вмешательства этого органа оказался бы неизмеримо более жестоким, чем созданная Дзержинским, Лацисом, Петерсом и другими революционная законность.

Эта фикция, в которую, думается, с самого начала никто серьезно не верил, была с предельной ясностью формулирована самим Дзержинским в его письменном докладе Совнаркому 17 февраля 1922 года: «Полагая, что накопленная веками ненависть революционного пролетариата к своим угнетателям поневоле выродилась бы в ряд стихийных кровавых эксцессов, которые смели бы с лица земли как наших врагов, так и наших друзей, я поставил себе задачей систематизировать производство репрессий революционной властью. В течение всего прошедшего времени ЧК была поэтому не чем иным, как разумной и целесообразной организацией революционного пролетариата».

При Сталине фикция народного гнева была поставлена на службу активной несвободе. В действительность народного гнева не верил, конечно, уже никто, но форма этой фикции оказалась в высшей степени удобной для активного проявления морально-политического единства советского народа, его беззаветной преданности Сталину и его партии и его священной ненависти к врагам. В периоды чисток каждый советский гражданин имел право и был обязан проявить свой справедливый гнев, выступая на митингах и собраниях и голосуя за резолюции, требующие от советского правосудия особенно суровых приговоров по отношению к предателям дела Ленина-Сталина, продажным холуям мировой буржуазии, вредителям, саботажникам и т. д.

Фикция народного гнева не есть, таким образом, пустое украшение. Она имеет практический смысл, вполне оправдывающий ее существование: она — приказ советскому человеку с гневом и возмущением отрекаться от былых авторитетов, от сослуживцев, друзей и родственников, почему-либо арестованных органами,— *запрет всякого сочувствия и сострадания по отношению к жертвам сталинского террора*. Нечего и говорить, что такой подход име-

ет конечной целью устранение самой возможности какой бы то ни было солидарности с ним.

*Критика и самокритика.* Фикция критики и самокритики имеет колоссальное значение. Вся так называемая общественная жизнь построена на критике и самокритике. Сталин даже открыл, что критика и самокритика играют в бесклассовом обществе такую же роль, как классовый антагонизм играет в классовом: это движущая сила развития общества.

На самом деле никакой критики в подлинном смысле слова, конечно, нет: критикуют только то, что позволено, вернее, предписано, критиковать, и в меру дозволенного. Большевики говорят о своей критике, что она у них поднята на большую принципиальную высоту. На самом деле, критика и самокритика — это, прежде всего, нападки на личность, нередко на уровне доноса. Это, во-первых, сведение личных счетов и попытка построить личную служебную карьеру; это, во-вторых, выполнение заданий политической полиции, которая дает соответствующие инструкции своим сексотам и стремится вызвать рознь, недоброжелательство, недоверие и вражду в коллективе; это, в третьих попытка мелких людишек выслужиться перед партией и продвинуться в ряды актива.

Деловое значение критики и самокритики скорее всего отрицательное, но польза, приносимая ею делу Ленина-Сталина, весьма велика. Критика и самокритика означают: а) рабское приятие любых директив вышестоящих органов и б) на основе этого приятия беспощадное шельмование всех слабых, отстающих, недостаточно рьяных, не абсолютно стандартных, пытающихся мыслить. Это форма открытого доноса, узаконенный самосуд, расправа над беззащитным, ибо нападение производится всегда в плоскости чистейших фикций и не допускает никаких возражений по существу. Всякое собрание с

самокритикой это маленькая чистка. Пострадавшему от самокритики, чтобы не быть окончательно раздавленным, остается одно: подтянуться, чтобы получить возможность укусить другого больнее, чем укусили его.

Фикция критики и самокритики как бы венчает собой всю сталинскую мифологическую систему. Ее главнейшая ценность для сталинизма — возможность беспощадного шельмования (и самошельмования) всякого, кто попытается обращаться с фикцией не как с безусловным приказом, кто проявит зазнайство, самоуспокоенность, наплевизм и т. п.

Самим Сталиным это сформулировано так: «Большевики не могут не знать, что лозунг самокритики является основой нашего партийного действия, средством укрепления пролетарской диктатуры, душой большевистского метода и воспитания кадров».

## Часть вторая

# Советский язык

# *Глава 1*

## СТАЛИНСКИЙ ФИКЦИОНАЛИЗМ И РУССКИЙ ЯЗЫК

***Неологизмы, переосмысления и шаблоны. Тройное значение слов. Фиктивный и подлинный смысл партийного словоговорения.***

Необычайная узость коммунистической псевдорелигии, её принципиальная ущербность с одной стороны, её целесообразная лицемерность с другой, ведут к переосмыслению целого ряда понятий. Вместе с тем советская партийно-государственная практика вносит в жизнь немало как абстрактных идей и ценностей (часто псевдоидей и псевдоценностей), так и совершенно конкретных предметов, нуждающихся порой в адекватном, а порой только в приблизительном и условном речевом оформлении. Целый ряд дальнейших понятий приобретает в атмосфере активной несвободы новую эмоциональную окраску, иной раз действительную, иной раз мнимую, а иной — и ту и другую вместе.

Поскольку все эти процессы протекают на материале живого великорусского языка, или соответственно на живых же языках других подвластных Сталину народов, сложившиеся до революции образы и смыслы тоже продолжают жить, беспорядочно переплетаясь с новыми, внесенными большевиками смыслами и образами. Слова приобретают двойное, тройное, а иногда и четверное значение.

Всё это вместе и составляет своеобразный «советский» язык, никому до конца не понятный и никем еще в этом аспекте не исследованный. Нам стоит на

нем остановится, ибо дух сталинизма отражается в нем гораздо более стихийно, чем в официальной доктрине, как в кривом зеркале искажающей все, что оформляется ею.

Этот «советский язык» есть не что иное, как вызванное сталинизмом катастрофическое окостенение языка, окостенение, протекающее весьма сложными и кривыми путями.

Прежде всего, язык творится лишь отчасти сталинизмом. Его развитие есть результат взаимоотношения власть — подвластные, красной нитью проходящего через всю советскую жизнь.

Современный советский словарь (понимая здесь под ним лишь неологизмы и переосмысления) не есть поэтому только язык сталинских мифов и фикций. Он отражает разом как фиктивное содержание нового понятия, так и отношение к нему власти и подвластных, и его тайный, эзотерический смысл.

Кстати, количество собственно неологизмов, т. е. чистых новообразований в современном русском языке, не так уж велико, если не считать, разумеется, всевозможных сокращений. Те из новых слов, которые внесены народным словотворчеством, вроде *авоськи*, *болельщика*, *вошебойки* — обычно преходны, отражая, главным образом, стихию советского быта. Насаждаемые сверху, такие, скажем, как *абортарий*, *беседчик*, *затейник* — значительно хуже, но относительно немногочисленны.

Гораздо распространеннее морфологические новообразования, главным образом, префиксальные, как *безаварийность*, *безотказность*, *внеплановость*, *завышать — занижать* и т. д. Они мало свойственны духу русского языка и, может быть, как раз поэтому звучат определенно по-советски. Именно они отражают давление власти на население. Их источник — трескучий партийно-административный жаргон, до отказа насыщаемый столь характерными для

советской власти элементами лозунгообразного приказа, основанного на фикции.

Мы не будем останавливаться на сокращениях, поток которых, кстати сказать, в последние годы значительно поиссяк. Многие из них, выступившие в свое время в подчеркнуто номинативной функции, остались затем не у дел. Например, буквенные сокращения типа ВСНХ, ГИХЛ, ЦЕКУБУ и т. д., отчасти и слоговые: *Главбум*, и прочие *главки*, *Центроснаб*, *Наркомпочтель* и др. в том же роде. Систематические переименования советских учреждений, несомненно, тоже сыграли здесь свою роль.

Немецкого типа склеивания, напротив, хоть и в значительной мере искусственно введены в русскую языковую систему, оказались весьма продуктивными — все эти *колхозы*, *агитпункты*, *партбилеты*, бесконечные образования с *авио*,- *авто*-,- *гос*-, *ком*,- *физ*-, *хоз*-, в начале, главным образом, слова. Эта категория слов жизненна потому, что большинство из них обозначает новые совершенно реальные предметы, созданные большевиками и требующие точного словесного обозначения. *Колхозы*, *агитпункты*, *госпоставки и хозрасчеты* не фикции, а действительно новые предметы и отношения, не существовавшие до советской власти и существующие только в условиях социализма.

Любопытный перегиб в словотворчестве этого типа представляли собой, теперь уже прекратившиеся попытки обольшевичивания языка словами типа *пролетлитература*, *индпошив*, *кожпальто*, *ячкаша* и др.; поскольку эти неологизмы не отражали ни новых фиктивных, ни новых реальных понятий, они просуществовали недолго и умерли в младенчестве. Очищение от них языка произошло параллельно с отмиранием раннебольшевистской революционной идеологии и с переходом от мифов к фикциям.

Знаменитая «дисскусия о языке», проведенная по инициативе партии и объявившая войну разжигавшейся в двадцатые годы самой же партией вражде к «литературности» речи и к «интеллигентности» фразеологии, с изумительной легкостью по-

ложила конец хаотическому словотворчеству первого периода революции, и в частности наплыву бесконечных вульгаризмов, особенно в языке молодежи и так называемой «молодежной литературы». *Болтология* (ленинское словечко!), *буза*, *бузотёр*, *гаврилка*, *загнуть*, *заначить*, *засыпаться*, *хахаль*, *шухер* и т. п. за редким исключением исчезают из языка.

*С переходом от раннего большевизма к сталинскому его этапу*, в результате сталинской революции сверху *внимание власти переключилось со словотворчества на творчество речевых шаблонов*, попытки революционизации языка уступили место всё усиливающемуся процессу его окостенения, созданию речевых шаблонов и трафаретов.

Положительный вклад большевизма в русский словарь в узком смысле этого слова, по сравнению с произведенными им социальными сдвигами, вовсе не велик. Появились новые понятия, реальные (*колхоз*, *госпоставки*), и фикционалистические (*запланировать*, *проработать*), некоторые из этих понятий обозначены новыми словами, но далеко не все и даже не большинство.

Словарь не отражает полностью советского духовного мира. Многие новые слова незначительны по своему содержанию; с другой стороны, многие из самых существенных сторон системы находят выражение в старых словах, правда, взятых в измененном значении. Советский язык никак нельзя сводить к словарю. Советский язык это русский язык, сравнительно мало обремененный неологизмами, но внутренне деформированный стихией активной несвободы.

Советский язык не свободен; это в нем главное. В изучении его надо исходить именно из этой его несвободы.

Основное направление давления, которое оказывается сталинизмом на язык, лежит вообще не в плане словотворчества, а в плане *переосмысления*

*уже наличествующих слов*, причем переосмысление это означает по большей части перекрытие прежнего смысла новым, двойным смыслом: 1) экзотерическим, порой фикционалистическим, порой совершенно фиктивным и 2) эзотерическим, тайным, но действительным. Прежний смысл слова при этом не исчезает бесследно, но продолжает жить в виде драгоценного для пропаганды эмоционального обертона и не менее драгоценного источника ложного его понимания и оценки.

Замечательно, что для обозначения чистых фикций в сталинизме, за редчайшим исключением (*вредительство, самокритика*) нет новых слов. Фиктивное значение, как правило, приобретают старые слова, иногда вышедшие уже было из употребления, причем одновременно с этим фиктивным значением они приобретают еще и второй смысл. Эволюция таких терминов, как *свобода, гуманность, прогресс, преданность, дружба, честь*, могут служить здесь достаточно убедительными примерами.

Повторим еще раз: словотворчество в СССР бедно, и тот, кто захотел бы составить представление о русской революции путем изучения советских неологизмов достиг бы цели только для раннего его периода. Для выражения своих понятий большевики сталинской эпохи пользуются готовыми словами, а не создают новых. Такие выражения, как «морально-политическое единство советского народа», «животворный советский патриотизм», «низкопоклонство перед иностранщиной», «безродные космополиты, эти беспачпортные бродяги в человечестве» и множество подобных сами по себе не вызывают особой тревоги за судьбу русского языка. В своих формулировках, быстро становящихся речевыми штампами, сталинизм охотно пользуется словами с несколько даже устарелым колоритом: *бдительность, двурушничество, доблесть* и т. д.

В последнем периоде своего развития советский словарь вообще имеет тенденцию к сближению со словарем Союза Русского Народа и иногда даже перекликается с афишками Ростопчина: та же нарочитая вульгарная нерачительность, та же напыщенно-эмоциональная сусальность.

Переосмысление слов в интересах большевистского их употребления в основном идет по двум линиям. Во-первых, как мы уже упомянули, все понятия об идеалах и ценностях приобретают новое содержание. Во-вторых, целый ряд слов как бы наново осваивается и приобретает весьма характерный про- или антисоветский эмоциональный оборот.

Процесс переосмысления совершенно естественно начался вместе с зарождением марксизма, (слова *свобода, демократия, диктатура,* например, переосмыслены уже Энгельсом), но не закончен еще и сейчас. Он захватывает постепенно все слова, означающие ценности и идеалы, как положительные, так и отрицательные.

Такие понятия, как *законность, мораль, долг, справедливость,* постепенно втягиваются в процесс переосмысления. Вместе с большевизмом появляются *революционная законность, классовая мораль, пролетарский долг* и т. д. Это уже первый этап переосмысления. Ибо между *законностью вообще* (или формально, *буржуазной законностью*) и новой *революционной законностью* ложится непереходимая грань. Смысл, казалось бы исключаемый самим понятием законности прекрасно укладывается в понятие «законности революционной». И не только укладывается, но и заполняет его совершенно, изгоняя прежнее «буржуазное» понятие. Прямо противоположно всеобщему в наше время пониманию законности «революционная законность» оказалась тем самым, на основе чего возможно, скажем, двух подсудимых, обвиненных в совершенно одинаковых

преступлениях, судить совершенно по-разному: одного — осудить, а другого, принимая во внимание его пролетарское происхождение, — оправдать.

Со временем, параллельно с отказом от классовой политики внутри СССР, определение «революционная» отпало и переосмысленное понятие «законности» стало означать уже законность вообще. Господствующая же в странах загнивающего капитализма «формалистическая буржуазная законность», перестав быть относительным антиподом столь же относительной «революционной» или «пролетарской законности», естественно предстала как издевательство над священным человеческому сердцу понятием законности вообще. Таков примерно ход переосмысления понятия в плане позднейшего сталинского фикционализма. За этим планом, однако, скрывается, как мы уже хорошо знаем, реальный эзотерический план, определяющий второе, столь же эзотерическое и столь же реальное, содержание нового понятия. В этом плане законность для сталинизма тоже не произвол, но воля партии, (или воля Сталина), облаченная в законообразные формы постольку, поскольку партия сочла это необходимым.

Это значение переосмысления, разумеется, должно быть хорошо известно всем советским юристам, но тем не менее должно оставаться условно тайным, т. е. нигде не высказывается в обнаженной форме. Применение «законности», особенно во всяких «кампаниях по борьбе», целиком определяется именно эзотерическим содержанием переосмысленного понятия, в то время как употребление слова «законность» допустимо только в его фиктивном значении, эмоционально перекликающимся с первоначальным, формально «буржуазным» и формально же вытесненным из сознания советского человека. В порядке непременно и громко выражаемой фикции советская законность отнюдь не есть законообразно оформленный диктаторский произвол,

но именно законность, во вполне первоначальном смысле слова, причем законность, имеющая место в самой прогрессивной стране в мире в условиях морально-политического единства советского народа и т. д. и т. д.

«Законность» в словоупотреблении сталинского времени, таким образом: 1) слово-сигнал к производству определенных действий, ничего не имеющих общего ни с первоначальным, ни с офикционализированным значением того же слова; 2)слово-заклинание, стремящееся вызвать в воспринимающем его субъекте определенные, нужные сталинизму настроения и эмоции и, наконец, 3) слово-фальшивка, маскирующее подлинное положение вещей.

Второй вид переосмысления слов носит совершенно иной характер. Оно касается уже не содержания понятия, а его эмоциональной окраски.

На советском языке резолюции или приветствия, например, обязательно *зачитываются;* о работе с кем-нибудь непременно *договариваются;* дела, бумаги или нового сотрудника *оформляют;* какую-либо комиссию, учреждение, производственный процесс *организуют* или *организовывают;* вопрос или книгу *прорабатывают*. Почему, спрашивается, приветствие нужно именно *зачитать*, а не *прочитать* или *огласить? Зачитать* всегда значило, во-первых, начать процесс чтения («он сперва стеснялся, а потом *зачитал* уверенно и бойко»); во-вторых задержать у себя и не вернуть взятое для прочтения («приятель *зачитал* мою книгу»). Шаблон «зачитать», в плане чисто языковом в новом его употреблении, без всякой нужды вытесняет употребление обычных «прочитать», «огласить» и без нужды же увеличивает лексическую омонимию. Ведь *прочитывающий* или *оглашающий* резолюцию человек, это просто человек, пользующийся русским языком, мировоззрение его и политические убеждения в словах *прочитать* или *огласить* никак не отражаются. Если же он ту же резолюцию *зачитывает*, если он

приемлет новый (пусть совершенно ненужный и неудачный, но новый советский) термин, он тем самым демонстрирует свою советскость, показывает, что он советский человек, что он друг советской власти и радостно поддерживает ее мероприятия. Словечко *зачитать* означает отнюдь не фикцию — люди зачитывают действительные документы, — но оно становится фикционалистическим, оно принимает в качестве обертона струю сталинского фикционализма. Человек, заменяющий им прежние выражения *прочитать* и *огласить*, этой самой заменой активно проявляет свою несвободу, показывает, что исповедует веру в сталинские мифы и фикции.

Одновременно употребление выражений *прочитать* или (сохрани, Боже!) *огласить* резолюцию или постановление становится контрреволюционным: оно означает, что данный гражданин не желает употреблять советские выражения, что он держится за тот по внешности нейтральный и аполитичный, но по существу враждебный советскому строю язык, на котором говорили люди времен господства буржуазии, что он не советский человек, что он не признает, что советская власть поступает прекрасно, заменяя слово *прочитать* или *огласить* собственным словечком *зачитать*, что он, может быть, несогласен и с самой резолюцией, что он, следовательно, сомневается в правильности генеральной линии партии и т. д. и т. д. *Употребление новых советских речевых шаблонов, становится, таким образом, демонстрацией преданности советскому строю; неупотребление — демонстрацией враждебности.*

Поставленный перед такого рода выбором советский человек вообще, а член ВКП(б) в особенности, даже если он обладает развитым чувством языка и хорошей культурой речи, не колеблясь, принимает навязываемые ему шаблоны. Не стоит и говорить об употреблении, например, таких шаблонов, как *оформить* или *организовать*, вытесняющих целые группы разнородных по семантике слов.

Определение глубины и силы влияния активной несвободы на русский язык — дело будущих ученых. Это влияние, повторяем, составляет только один из факторов еще совершенно неизученного развития русского языка под советской властью. Но основное направление и формы этого влияния совершенно ясны уже и сейчас: некоторое обогащение словаря терминами, означающими новые явления и отношения, по большей части вполне конкретного порядка, изгнание ряда понятий, почему-либо ненужных большевизму (соблазн, грех и др.), *переосмысление слов, означающих идеалы и ценности* и, наконец, постепенное вытеснение из языка синонимических выражений, ограничение его семантики, введение все более жестких словесных шаблонов, *свидетельствующих* только о *преданности* говорящего советскому строю, в пределе — полная *ликвидация речевой свободы*.

Сталинизм, совершенно согласно своей природе, нуждается не в живых мыслях и чувствах, а лишь в предписанных выражениях мнимых мыслей и мнимых чувств, предписанных партией, правительством и лично тов. Сталиным. Джордж Оруэлл («1984») со свойственным ему пророческим дарованием говорит об упрощенном, обедненном, стандартизированном языке тоталитаризма. Именно предельное *окостенение речи, превращение ее в набор готовых формулировок* — основное *направление влияния сталинизма на развитие языка*. И если бы тот же самый язык не употреблялся одновременно и для выражения эзотерических стремлений сталинизма, он, конечно, очень скоро выродился бы в совершенно пустое словоговорение, в изречение никому не нужных заклинаний.

Для условного выражения действительных велений сталинизма, однако, вовсе не нужен богатый и точный язык, здесь вполне достаточно того же небольшого количества стандартных формул, приобретающих лишь новое значение.

Чрезвычайную важность приобретают в этом аспекте уже не слова, а внешние обстоятельства, когда, кем, как, в каком контексте, кому, в присутствии кого и т. д. изрекается данная формула. Смысл сказанного может резко меняться в зависимости от всех этих условий. Собственно партийный язык в какой-то мере снова сближается с синкретическим праязыком, означавшим одним словом, иногда одним звуком целый ряд различных понятий.

Нападки на современный советский русский язык, указания на то, что он засорен иностранными словами, изуродован сокращениями, обезображен вульгаризмами, может быть, и верны, но поверхностны. Обвинять сталинизм в том, что он засорил или изуродовал русский язык то же, что плакать по прекрасным волосам отрубленной головы. Сталинизм не уродует и не засоряет язык — он его *губит*.

Ибо язык есть прежде всего форма бытия человеческого духа. Дух же дышит свободой. Заставляя язык рабствовать, превращая его в средство для сокрытия или искажения действительных чувств и мыслей, сталинизм не просто опустошает язык, не просто обедняет его синонимию и уродует его семантику, но убивает самую речевую субстанцию, подменяет язык заклинаниеобразными лексическими и фразеологическими шаблонами, речевым оформлением фикций.

*Советский человек призывается к большевистской бдительности, к умению давать решительный отпор всяческим искривлениям, вражеским и вредительским вылазкам. Он должен уметь выявить и разоблачить замаскировавшихся врагов народа, срывщиков социалистического труда. Он по-стахановски включается в ряды борцов за выполнение плана, мобилизует все силы или резервы на преодоление трудностей, ликвидацию узких мест и прорывов, изживание недостатков. Он внедряет ударные, скоростные методы в процесс производства, повышает производительность труда. Встречает с одушевлением или энтузиазмом постановления или*

*решения партии и правительства. Добивается высоких показателей, рекордного перевыполнения плана, возможного только на основе мудрого руководства...* и т. д. и т. д.

В пределе сталинизм нуждается вовсе не в языке, а в ясно очерченной системе речевых шаблонов. Шаблонизация языка, как средство шаблонизации мыслей и чувств, есть одно из характернейших проявлений сталинской редакции активной несвободы. Шаблонизация эта утверждается сверху вниз. Шаблоны создаются в Кремле и затем «спускаются на низы». Достаточно просмотреть советскую печать — центральные газеты, областные, районные, стенные — и процесс утверждения шаблона станет ясен.

Неудачное словотворчество, там, где оно не имеет политического, или, что в области языка практически одно и то же, фикционалистического значения, до сих пор с успехом выбрасывается из языка — наилучшее доказательство тому, что русский язык еще жив и способен к сопротивлению. Такие перлы, как, скажем, *загсироваться* (расписаться в ЗАГСе), *молнировать* (послать телеграмму-молнию), *бесхозный скот*, *жидкотекучий* состав, *крысонепроницаемость* зданий не остаются в языке, так как не поддерживаются трафаретным императивом. А вот: *актуальный*, *конкретно*, *конста(н)тировать*, *нагрузка*, *направление* (канцелярская бумажка), *разворот*, *чистка*, *увязка*, *учеба* — все это укрепилось и повторяется с исключительной настойчивостью, совершенно вытесняя равноценные, но не шаблонизированные выражения.

Слово *активный*, например, именно потому, что оно имеет советский оттенок, вытесняет из языка не имеющие этого оттенка слова: *деятельный*, *энергичный*, *предприимчивый*, *любознательный* и т. д.

Вследствие назойливости и частоты употребления, эти фаворизируемые шаблоны постепенно теряют

семантическую полноту и очерченность, стираются, как ходячая монета, и их выразительность стремится к нулю.

Язык не просто опустошается, он умирает. Слова-понятия, превращаются в слова-сигналы, слова-заклинания и слова-фальшивки. В семантической структуре созданных или (что чаще) переосмысленных слов появляется совершенно новая функция, отсутствующая в словах небольшевистских. Назовем эту функцию *фикционалистической*. Сталинизация языка не есть его засорение или уродование — оно есть его фикционализация. Сталинизм не просто портит русский язык, он мертвит его, превращая живые слова в бездушные обозначения, в безжизненные фальшивки. *Сочувствующий, непартийный большевик, ударничество, вредительство, враг народа* и т. д. и т. д. — легион условных обозначений, легион фикций, легион заведомо фальшивых понятий. За ними идут целые словосочетания, фразеологические обороты, тоже условного содержания. Тоже фальшивки, но не вполне мертвецы, потому что еще ничего, пожалуй, когда советский гражданин *становится на трудовую вахту* или *включается в ряды борцов за выполнение плана*, пожалуй, еще ничего, пока он *мобилизует силы или резервы на преодоление трудностей, на ликвидацию узких мест и прорывов, изживание недостатков*, пока он *внедряет новаторские и скоростные методы, повышает производительность и обеспечивает выполнение государственного или партийного задания*. Страшнее, когда его призывают к *большевистской бдительности, к умению давать решительный отпор всяческим искривлениям, вражеским и вредительским вылазкам*, страшнее ,если он должен *уметь выявить и разоблачить замаскировавшихся врагов нашего советского строя, наймитов империалистических разведок*. И страшно, когда он *взволнованно или с энтузиазмом* встречает *мудрые или исторические решения*,

с *негодованием* или *возмущением* или *гневно* протестует против *реакционных происков*, с *воодушевлением* становится *в ряды борцов за мир*, *включается в движение патриотов* или *честных (простых) людей всего мира*, *укрепляет подлинную демократию*, *доблестно выступает в защиту свободы*, *прогресса*, *права*, *гуманности*, *героически жертвует собой во имя человечества*, *свободы*, *Родины*.

Страшно, когда *прогрессивными* или *передовыми* именуются только взгляды, на данном этапе одобренные партией, правительством и лично тов. И. В. Сталиным, когда слово *предательство* или *измена* может употребляться только для обозначения ухода от коммунизма и никогда не наоборот, страшно, когда *общественным мнением* именуются нужные власти фикции, *демократией* — активная несвобода советских выборов, а *добровольностью* или *свободой* — готовность с лицемерным восторгом принять на себя дополнительные нагрузки, не ожидая приемов принудительного воздействия. Страшно, когда высокое и святое используется для вымогательства, когда слово не *раскрывает*, а *прикрывает* смысл...

Из высоких и светлых слов, означающих идеалы и ценности, сталинизм вынимает их душу и надевает их оболочку, как маску, прикрывающую часто вполне противоположный смысл. И неудивительно, что слова «добровольно» и «светлое будущее» советский человек нередко употребляет в насмешку. А о смысле прекрасных слов «добрая воля» никому и в голову не приходит задуматься.

Для некоторых процесс ограбления речи исчерпан. Для некоторых за ограблением слов последовало ограбление души. Можно встретить этих ограбленных в партийных кабинетах, можно видеть их составляющими доклады, можно видеть их пишущими статьи для «Правды» и «Коммуниста», можно читать сфабрикованные ими стихи, повести и романы, можно слышать их голоса с трибун конференций и

съездов, с театральных подмостков и в радиопередачах. Из уст какого-нибудь парторга, говорящего, скажем, о подписке на заем очередной пятилетки, слова-фальшивки мертвящим дождем сыплются на головы слушателей. Наиболее характерно здесь то, что докладчик сам совершенно не верит тому, что говорит. И знает, что слушатели это знают и сами не верят ему. И все же он, этот докладчик, смакует себе мертвые слова и торжествует. И думает при этом примерно следующее: «Знаю, мол, что вы мне не верите и понимаете, что я пустяки говорю. Но мне нужно от вас то-то и то-то и, видите: я отлично достигаю цели. Попробуйте-ка возразить, не согласиться, выразить сомнение, ну-ка!»

Фикция, выраженная на вполне соответствующем ей офикционализированном языке, становится сигналом к определенному поведению, своего рода раздражителем, вызывающим не понимание, а условный рефлекс.

Еще раз: если бы не эзотерический, тайный смысл, скрытый за внешней фальшивкой, советский язык очень скоро превратился бы в совершенно пустое словоговорение и вся речь нашего докладчика могла бы быть заменена краткой формулой: «Даешь 10% заработка государству!» Советский язык нужен, однако, еще и потому, что на этом языке люди вынуждены договариваться также о деле, отнюдь не фиктивном и нередко вполне антигосударственном.

Настоящих знатоков большевистского языка, настоящих мастеров в его употреблении нужно искать поэтому не столько на митингах и в редакциях газет, сколько в кабинетах партийных работников. Ибо там люди не агитируют и не митингуют, а договариваются о серьезных и очень серьезных вещах при помощи именно стандартных, подчеркнуто грубоватых фраз (единственно оставшийся пролетаризм!), наполненных внешне очень выразительными и в то же время ничего не говорящими речевыми шаблонами, вроде: *спустить на низы, взять на бук-*

сир, обеспечить условия, бдительно следить и т. п. Договоренность здесь всегда имеет две стороны: внешнюю, трескуче-официальную, в которой ни с чем не соразмерные похвалы и лесть перемежаются с безобразнейшими нападками, нередко совершенно клеветническими, и внутреннюю, касающуюся существа дела. В этом внутреннем взаимопонимании партработники проявляют изумительную изощренность, верную оценку своего положения и своей деятельности, уменье понять друг друга с незначительного намека, и даже безо всякого намека, и цинизм ни с чем не сравнимый. Их разговоры между собой, даже за рюмкой водки, ведутся так, что неискушенный в местных делах и взаимоотношениях наблюдатель непременно должен посчитать их за идейнейших и жертвеннейших коммунистов, в то время как самим им совершенно ясно — хоть ни один из них не мог бы доказать этого ни одним произнесенным словом или совершенным действием, — что не только они, но и вообще решительно никто во всем Советском Союзе не верит ничему из того, что здесь говорится, что реальная живая жизнь не имеет ничего общего с официальным ее описанием, что лишь в интересах строжайшего этикета, отступление от которого карается жестоко, источается трескучее пустословие, в то время как думать и делать надо совсем другое, то, о чем никогда не говорится и так, как об этом никогда не говорят.

Читая газету, а тем более очередные директивы, каждый советский бюрократ умеет сделать из прочитанного совершенно ясные выводы, о которых он, даже если бы захотел этого, не смог бы рассказать обыкновенными человеческими словами, но которые он зато прекрасно умеет облечь в надлежащее пустословие и о которых умеет дать понять всем тем, кому надлежит дать понять. Гибкость этих людей необычайна. Она основана на уменьи каким-то особым, специально натренированным «классовым» чутьем различать, где именно проходит генеральная

линия партии (т. е. чего собственно хочет начальство) и какие именно фразы следует говорить в существующих условиях. Набор этих фраз, впрочем, весьма небогат, и среди них есть немало подходящих к любой обстановке.

Искусство владения сталинским партийным языком начинается по существу там, где кончается словесное выражение мысли. Мимика, жест, манера держать себя, учет внешней обстановки, когда, кем и кому говорится та или иная фраза, решает здесь дело. Тайные мысли, мысли, которые строжайше запрещены, выражаются мертвыми шаблонами.

Трагедия активной несвободы языка не в засорении его чистоты, не в нарушении литературных норм. Она в принудительной подмене живых, порой необходимейших понятий, понятиями мертвыми, условными, фикционалистическими. Язык, у которого отнимают свободу, язык, который целеустремленно насилуется, беднеет не только в средствах внешней выразительности. Иссякают животворящие его силы, гибнет душа языка. На смену живой правде и широте приходит безжизненность трафарета, шаблона, штампа, фальшивки...

«И, как пчелы в улье запустелом,
Дурно пахнут мертвые слова».

(Н. Гумилев)

# *Глава 2*

## ПАРТИЙНОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

*Краткий анализ нескольких типичных для сталинизма понятий. Три добродетели марксиста-ленинца. Несколько словарных примеров.*

Мир большевистских представлений складывался в значительной мере стихийно, под знаком уменьшающегося влияния марксистской доктрины и увеличивающегося значения фикций. С самого начала в нем были очень сильны не только элементы обмана, но и элементы самообмана, что вполне соответствует объективному, а вовсе не субъективному характеру эзотеризма сталинской эпохи.

Самое упоминание о существовании в человеческой душе возвышенных идеалов и ценностей приводило Ленина, а до него Маркса, в состояние раздражения. Рассуждения о смысле жизни, светлых личностях или высоких идеалах воспринимались, как «реакционная болтология дипломированных лакеев поповщины», как презреннейший фидеизм, как замазывание противоречий и, само собой разумеется, как служба мировой буржуазии.

Жизнь человеческая, тем не менее, не может протекать без осмысливающих ее идеалов и ценностей, высоких и низких, светлых и темных, прекрасных и пошлых. Были, конечно, такие идеалы и у самого Маркса, и у Ленина, и у остальных большевиков. И демонстративное презрение к ним воинствующих материалистов-диалектиков могло означать только: а) действительное презрение к идеалам и ценностям буржуазной культуры, хорошо обоснованное принципиальной к ней враждебностью и б) нежелание осознать свои собственные идеалы как таковые и назвать их именно этим именем.

Философский релятивизм, красной нитью проходящий через наукообразную, эволюционную сторону марксизма и некритически исповедуемый ранним большевизмом, рассматривал идеалы, как нечто чрезвычайно условное, временное, и всецело определенное социальными отношениями. Ранние большевики во главе с Лениным совершенно искренне считали свои пролетарские идеалы столь же относительными, как и идеалы буржуазные и, хоть и тогда уже требовали абсолютной к ним приверженности, очень настаивали на этой их принципиальной относительности.

Эзотерическая сущность большевизма, однако, уже тогда была абсолютной. Абсолютными были и его тайные идеалы и ценности. И служение им тоже было бескомпромиссным и абсолютным, гораздо более абсолютным, чем служение буржуазной культуры открыто признаваемым ею ценностям Добра, Красоты и Истины. Подлинная первоценность большевизма — власть — долгое время оставалась тайной даже для его руководителей. Подлинная иерархия ценностей сталинизма была первоначально, а в значительной мере остается и до сих пор тайной иерархией. Процесс подмены идеала всеобщего блаженства идеалом абсолютного властвования происходил стихийно и не осознавался.

С другой стороны, совершенно сознательное использование первоначально только созвучных социализму, а затем и любых человеческих идеалов, как «оружия в классовой борьбе» и построение на этой основе уже знакомого нам мира мифов и фикций внесли в большевистскую аксиологию элементы целеустремленного обмана, еще больше затемнив, таким образом, ее подлинное лицо.

Переоценка ценностей, столь характерная для коммунистического движения, с самого начала была искажена элементами обмана и самообмана. *Сталинизм же в своей практике пользовался* (если можно здесь употребить это слово) *одновременно двумя иерархиями ценностей:* действительной, вполне соответствующей его онтологической сущности, но

скрытой и до конца неосознанной самими сталинцами и явной, чрезвычайно трескучей, решительно ничему не соответствующей, но очень нужной в каждодневной практике.

Сталинизм готов использовать любую чужую ценность, если это сулит ему какую-либо выгоду. Так он использовал, или пытался использовать идеалы родины, патриотизма, церкви, ислама, гуманности...

Подлинная иерархия ценностей сталинизма крайне проста. Верховной ценностью в ней является власть. Все остальное ей подчиняется. Первоценностью мнимой иерархии остается при этом идеал всеобщего блаженства — якобы конечная цель всей деятельности мирового коммунизма. Все, что когда-либо говорилось и говорится коммунистами, приспособлено к этой второй иерархии.

А поскольку всеобщее блаженство представляет собой также и один из основных идеалов европейской культуры нового времени, то для поверхностного восприятия (распространенного в свое время и в коммунистической партии) создается впечатление (очень выгодное для коммунистической пропаганды, но по существу совершенно ложное), будто выработанные европейской культурой понятия об идеалах и ценностях продолжают не только жить и при советском строе, но, более того, одушевлять советскую власть.

На самом деле сталинская переоценка ценностей означает коренной пересмотр всех без исключения понятий об идеалах и выражается как эмоциональный или псевдоэмоциональный обертон в целом ряде слов и выражений.

Мы остановимся подробнее только на четырех: на «преданности», «преступлении», «бдительности» и «активности».

*Преданность.* Слово «преданность» понимается сталинизмом только безусловно и тем самым при-

обретает смысл рабствования, беспрекословного повиновения, полного отказа от себя, от собственной индивидуальности, собственных чувств, собственных мыслей, собственной совести.

Полноценный советский гражданин, преданный строительству коммунизма, должен поэтому отказаться от речевой свободы, должен чувствовать, думать и говорить по готовым, хорошо разработанным для него партией трафаретам. Его речь не имеет права быть индивидуальной. Она должна действовать шаблонами. Индивидуальные обороты речи, неупотребление навязываемых властью речевых штампов обнаруживает не что иное, как индивидуальное, собственное, а следовательно, несоветское мышление говорящего. Самостоятельность мышления может быть только либо причиной, либо следствием недостатка преданности.

На примере словечка *зачитать* мы уже видели, как советизировалось понятие, выражавшееся прежде словами *прочитать* и *огласить*. Тот же просоветский обертон имеют слова: *проработать*, *оформить*, *организовать*, *заострить*, *кадры*, *массы*, *драться* или *бороться* за что-либо, *лицом* к чему-либо, *нагрузка*, *низы*, *охват — охватить*, *отрыв*, *подход*, *разгромить*, *увязать — увязка — неувязка*, *учет — учитывать*, *недооценивать*, *благодушие* и т. д.

Все эти слова и словечки ложатся в основу речевых шаблонов и фразеологических оборотов, столь характерных для советского языка, особенно для языка активистов и партработников. В последние годы советизируются с особенной охотой интимные и почему-либо дорогие народному сердцу слова, как-то: *родной — родимый*, *дружно*, *отеческий*, *самоотверженно*, *горячо — горячий*, с *любовью*, *восторженно*, *взволнованно* и даже архаические: *ратные подвиги*, *доблесть*, *воин*, *алтарь отечества*, *возлюбленная отчизна*.

Самая ценность верности или преданности, выражаемая частым употреблением советских словечек и шаблонов, понимается сталинизмом, как ценность добровольного отказа от свободы, как ценность безусловного повиновения. Слово «повиновение» изгнано из большевистского языка и подменено словами «верность» и «преданность». Непривлекательная для человеческой воли необходимость повиноваться маскируется, таким образом, псевдосвободной «преданностью». Приказу в СССР не «повинуются». Приказ «выполняют» (не «исполняют», а именно «выполняют», так же как «выполняют» план или задание, которые тем самым в своем значении сближаются с приказом). Повиновение воле Сталина называется в результате «преданностью делу Ленина-Сталина», а повиновение воле партии — «верностью генеральной линии партии».

Замечательно, что самый смысл понятий верности и преданности, как правило, не известны уже активисту сталинской формации. На вопрос: «Что такое *преданность?*» он даст сбивчивые определения, обычно более близкие к понятию повиновения, чем к первоначальному значению этого слова, приводя примеры из партийного жаргона, навязывающего ему это сбивчивое понимание.

За словом «преданность», в употреблении его советским человеком, стоят, таким образом, три понятия: 1) первоначальное, смутно ощущаемое им, но эмоционально привлекательное, 2) фиктивное, формально сохраняющее всю привлекательность первоначального и означающее добровольное и радостное приятие авторитета партии и советского государства и стремление не жалея себя выполнять их волю как свою собственную и, наконец, 3) действительное, означающее безусловное повиновение любым распоряжениям власти, независимо от своего собственного к ним отношения, нередко связанное с преодолением внутреннего отвращения к ним.

*Преступление.* Понятие «преступления» за время сталинщины расширилось до крайнего предела. Всякое вольное или невольное действие, принесшее вред диктатуре расценивается как преступление.

Всякая, даже невольная мысль, несогласная со сталинизмом, хотя бы только в фикционалистическом его аспекте, есть уже недостаток преданности, есть уже «пережиток капитализма в сознании», неизбежно ведущий к тому или иному *уклону, загибу, сползанию, скатыванию, вылазке, выпаду,* нарушению универсальной статьи 58 УК РСФСР. Слова *искушение, соблазн, грех, ересь,* в значительной мере *порок,* изгнаны из словаря, они абсорбированы универсальным *преступлением.*

Понятие *преступления* в условиях сталинской диктатуры теряет свою выработанную веками правовую очерченность и приобретает черты чуть ли не первобытного синкретизма. Это проистекает, конечно, из вполне земного характера коммунистической псевдорелигии, нуждающейся именно в таком недифференцированном понятии. Но это выгодно и для государственной практики, преодолевающей благодаря этому неудобный формализм уголовного кодекса. Факт очень раннего отказа от выдвинутого в эпоху революции термина *правонарушение* не случаен и со своей стороны подтверждает эту мысль. Первоначально марксистская идея о том, что для советской власти нет преступников, а есть только правонарушители, диалектически перешла в свою противоположность: как для религии во грехе лежит наш несовершенный земной мир, так в преступлении лежащим оказался мир, подвластный и не подвластный господству Сталина.

Добросовестных заблуждений и неизбежных ошибок, проистекающих из объективных условий, не бывает в мире сталинских фикций. Этот мир допускает только хождение «на поводу у врага», ведущее

к «злостным извращениям» и «преступным ошибкам».

Понятие «преступления» в советском словоупотреблении гораздо шире, даже очень широких формулировок советского права. Это одно из широчайших родовых понятий, объединяющее все возрастающее число видов, доброй половины которых вообще не существует вне СССР. *Контрреволюция, вредительство, невыход на работу, очковтирательство, бракоделъство, разбазаривание* — вот виды преступлений, нашедшие прямое отражение в советском праве. Дальше следуют: *аварийность, антисоветский анекдот, благодушие, блат, болтология* или *трепология, бытовое разложение, бюрократизм, волокита, враждебная вылазка* или *выпад, гнилая контрреволюционная теорийка, гнилой либерализм, левацкий загиб* и *правый уклон, завышение-занижение заданий, иждивенческие настроения, интеллигентщина, искривление,* обычно злостное, *кампанейщина, комчванство, кустарщина, лакировка действительности, массобоязнь, низкопоклонство перед растленной буржуазной культурой, обезличка, отрыв от масс* или *от производства, отставание, перегиб, перерождение, перестраховка, подкулачничество, чуждый подход, пораженчество, предельчество, примиренчество, приспособленчество, просачивание, прожектерство, разгильдяйство, расхлябанность, самонадеянность, самоуспокоенность, семейственность, скатывание* или *сползание* (например, в *болото оппортунизма*), *слепота* или *глухота* специалистов и партработников, *схематизм* (например, социологический), *формализм, голое развлеченчество* и *увеселенчество, упрощенчество, уравниловка, халатность, халтура, хвостизм, смычка с чуждыми* или *вредными элементами, безродный космополитизм* и т. д. и т. д. Все эти *пережитки капитализма* не рассматриваются, кончено, как прямые правонарушения (главным образом, потому, что в них бывает крайне затруднительно усмотреть кон-

кретный состав преступления), но как источники совершенно неизбежных правонарушений. Все они квалифицируются как *преступные*, нередко *приши-ваются*, т. е. приписываются людям совершенно фиктивно и преследуются весьма разнообразными способами.

Не говоря о том, что уже советское право предусматривает возможность привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, непредусмотренные законом и вообще не видит различия между преступлениями уголовными и политическими, сталинизм развил сложную систему преследования, производимого под маской «честной и прямодушной советской общественности». Сюда относятся всякого рода общественные, комсомольские и партийные суды, всякого рода собрания с критикой и самокритикой, чистки и прочие меры партийного и общественного воздействия.

Всеобщая преступность советских людей (подмена понятия греха понятием преступления неизбежно ведет к этому) вызывает к жизни тесно связанную с преданностью вторую добродетель подлинного марксиста-ленинца — бдительность.

*Бдительность*. Постулируемая в сталинизме всеобщая бдительность советских людей есть естественное следствие всеобщей их преданности советскому строю и всеобщей же склонности к скатыванию в тот или иной вид... и нет адекватного слова — грех и соблазн отброшены, — остается сказать... «преступления».

Согласно первому, фиктивному смыслу понятия, бдительность есть функция преданности. Но, поскольку сама-то преданность гражданина власти — лишь фикция, лишь преданность преступника карающей его законности, за фикцией этой отчетливо выступает также и эзотерическое значение слова «бдительность».

И фиктивно, и на самом деле бдительность заключается в абсолютном недоверии ко всем окружающим: братьям по классу, сослуживцам, товарищам по профессии, родным, друзьям, собственной семье. Во всех этих людях, то есть иначе говоря, во всех людях без исключения надлежит видеть фактических или потенциальных преступников, действующих или притаившихся врагов советской власти.

Бдительность требует непрерывно и зорко наблюдать за морально-политическим состоянием своих и возможными происками чужих, не доверяя тем и другим в совершенно одинаковой степени.

Но кто есть субъект бдительности в условиях поголовного подозрения? Очевидно, сами подозреваемые. Призыв обращен не к верным сынам партии (таких не существует; кроме Сталина, все способны переродиться и пойти на поводу у врага), а к тем, кто сам заслуживает подозрения. Сами возможные и уже подозреваемые преступники своей бдительностью должны охранять сталинизм от неизбежных на него покушений. Поэтому важны вовсе не настроения, из которых вытекает бдительность, а *поведение*, которое осуществляет бдительность, безразлично из каких побуждений, искренних или лицемерных.

Важно доказать на деле свою бдительность, то есть кого-то разоблачить. Это не так просто. Поэтому значительное число так называемых активистов довольствуется обычно какой-нибудь неуклюжей попыткой разоблачить — нелепой, ненужной и фальшивой.

Повторим еще: фиктивная бдительность, вытекающая из фиктивной преданности и разоблачающая фиктивные преступления нужна власти как предпосылка для совершенно реального психологического террора. Именно в силу этого она и расценивается как важнейший положительный идеал, как непременнейшая добродетель советского человека.

*Активность* — третья непременнейшая добродетель сталинского марксиста-ленинца, приложение к его преданности и бдительности. Активист (он же общественник) — это провозглашенный властью идеал советского человека. Группы активистов, партийных и беспартийных, несущих на себе работу партии, комсомола, общественности и т. д. именуются обычно «активом». Имеется партийный актив, профсоюзный актив, прокурорский актив, комсомольский актив и т. д.; есть активисты учебы, изучения «Краткого курса», «Биографии И. В. Сталина», полетов к Северному полюсу и т. д.

Фиктивно активисты — это люди безраздельно преданные а) делу Ленина-Сталина, партии и правительству вообще и б) тому или иному делу в частности. Именно активистами этого дела они и являются.

В действительности актив — это привлекаемая на основе личной заинтересованности, не конспиративная агентура власти по возможности равномерно распределяемая между всеми группами населения и всеми производственными ячейками СССР. Для осуществления властвования актив имеет не меньшее значение, чем органы госбезопасности, хотя функции его существенно иные.

Проявления активности суть: а) шпионство за окружающими, производимое в силу бдительности, б) своеобразный, часто мнимый контроль, ведущийся под флагом «критики и самокритики» и громко именуемый «общественным», в) агитация. то есть неустанное повторение всех создаваемых властью пропагандных фикций, г) личный производственный пример, д) всемерное участие в организации проявлений активной несвободы, то есть добровольного волеизъявления масс, их творческого порыва, их трудового энтузиазма. Фиктивно не чем иным, как именно проявлением активности широчайших трудящихся масс было, например, требование выполнения пятилетки в четыре года. Именно активность

заставила советского рабочего подхватывать начинания Стаханова, Матросова и прочих новаторов производства.

Для рядового советского человека активность так же, как преданность и бдительность — фикции, за которыми скрывается его полнейшее равнодушие к делу Ленина-Сталина, а нередко и ненависть к советской власти. Носителем большевистских добродетелей является особый слой населения, так называемый «актив» — единственный слой советского населения, обладающий активной преданностью и активной бдительностью, то есть готовностью с безусловным повиновением выполнять любое задание власти и по первой указке власти, или даже без всякой указки, предать кого и что угодно, сделать в порядке критики и самокритики любую гадость вчерашнему другу или превознести вчерашнего врага. Но далеко не все активисты — настоящие. Есть в СССР лжеактив, и он огромен.

Фиктивно, то есть экзотерически, в глазах власти актив это «лучшие из лучших»; в действительности, то есть эзотерически, они — такие же преступники, как и всё остальное население. Ибо и активисты, и власть, и народ, одни ясно, другие смутно, знают, что преданность и бдительность каждого активиста может очень легко перейти в свою диалектическую противоположность, т. е. в преступление.

Чрезвычайно существенно, далее, переосмысление слов, означающих условия жизни в СССР. Ведь согласно доктрине советская власть обеспечивает гражданам Советского Союза подлинную *свободу, демократию, культуру, зажиточность* или *благосостояние* и строжайшую *законность*, тогда как в капиталистических странах все эти понятия подвергаются лицемерному искажению их господствующими классами.

О *законности* мы уже говорили выше (стр. 110–112).

*Свобода* фиктивно осуществлена в СССР впервые в мировой истории. Свобода эта: а) подлинна, б) предельно велика, в) развивается и увеличивается по мере приближения к вершинам коммунистического общества и окончательному овладению природой. Свобода утверждается советскими людьми с величайшей сознательностью и активностью. Своей свободой народ обязан целиком товарищу Сталину.

Свобода есть исключительно достояние советского человека. На Западе царит капиталистическое рабство и тенденция к его дальнейшему углублению и расширению. Единственный акт свободы, возможный вне границ СССР и стран народной демократии, — это революционная борьба против капитализма. В конце концов, свобода в капиталистических странах есть тоже дар тов. Сталина: борьба с капитализмом возможна только благодаря его мудрому руководству и только на основе существования социалистического отечества всех трудящихся — СССР. Окончательное же торжество произойдет в результате неизбежного столкновения капиталистической и социалистической систем. Точнее говоря, сталинскую свободу принесет на своих штыках Советская армия, еще точнее: ее принесет тов. Сталин.

В действительности, содержание понятия свобода переосмыслено уже Энгельсом в известной формуле: «свобода есть осознанная необходимость». Эзотерическое *значение слова «свобода» в сталинизме прямо противоположно первоначальному его значению. Оно означает активную несвободу.* Советский народ отразил это положение вещей в чудовищном словосочетании «добровольно-принудительно», отлично понимая, что «добровольно» или «свободно» в сталинской трактовке свободы означает «беспрекословно», не ожидая применения мер принудительного воздействия.

*Демократией* в процессе того же переосмысления называются почти все проявления ак-

тивной несвободы, начиная со всевозможных выборов и всевозможных собраний и кончая добровольно-принудительной организацией участия широких масс в разного рода дополнительных нагрузках и дополнительных восторгах.

*Культура.* Фиктивно подлинная, великая развивающаяся культура имеет место только в Советском Союзе. Великая буржуазная культура вся в прошлом, она давно находится в нисходящей части кривой своего развития. Поэтому она ничего уже не может дать советской культуре; ее влияние может быть только отрицательным; подчинение этому влиянию — «низкопоклонство перед Западом».

Советский человек, согласно этой фикции, есть человек самого высокого типа культуры, который когда-либо существовал в истории человечества. Условиями для своего расцвета советская культура обязана тов. Сталину; он же дал основные ее идеи в области философии, науки и искусства.

На самом деле слова «советская культура» означают мир сталинских мифов и фикций. Когда же они употребляются в более узком смысле, они не что иное, как синоним «культурности», то есть умения культурообразно держать себя не из внутренней к тому потребности, а потому что этого пожелало руководство.

*Зажиточность* или *благосостояние* в значительной мере подменяют нелюбимое большевиками слово «богатство». Фиктивно и национальное богатство и народное благосостояние в СССР стоят на неслыханно высоком уровне. Развитие производительных сил осуществляется в Советском Союзе в небывалых размерах, тогда как в капиталистическом мире происходит хищническое расточение народного богатства и разрушение производительных сил. В СССР неуклонно растет благосостояние каждого члена социалистического общества; на Западе растет нищета широких трудящихся масс. В

сущности только СССР является страной богатой и предопределенной к богатству. Своим благополучием СССР обязан Сталину, и советский человек хорошо понимает это, когда говорит: «Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь!»

В действительности *зажиточность* или *благосостояние* означают тот жизненный стандарт, который сталинизм счел возможным и необходимым установить для подвластного ему населения.

Фиктивно под зажиточностью понимается богатство; на самом деле — бедность, порой настоящая нищета.

Приведем наудачу еще несколько характерных, созданных или переосмысленных в сталинское время понятий, бытующих в советском языке.

Словечком *блат* не власть, а народ означает одну из важнейших неофициальных основ советской жизни. Блат — неологизм, заимствованный из воровского жаргона.

Блат — это достижение целей личных и общественных, порой незаконных, а порой и совершенно законных, незаконными средствами.

Например, чтобы выполнить план, предприятию не миновать прибегнуть к блату. Без блата жизнь в Советском Союзе стала бы невыносимой и даже просто невозможной. Блат — всеобъемлющ. Слово «блат» введено в язык народом, — оно не обозначает никакой фикции, но подлинную действительность, властно потребовавшую словесного обозначения.

«Не имей два брата, а имей два блата», «получить по блату», «тут без блата ничего не сделаешь», «есть у меня блатишко», подобными выражениями пестрит речь советского гражданина. Людей опытных в блате и смело пользующихся им в большом масштабе, величают «блат-майорами» и «блат-мейстерами». Стать «блат-мейстером» — идеал для советских людей и даже для целой социальной группы «снабженцев».

В глазах власти блат — преступление и при случае за него карают. Но это самый неуловимый вид

преступности, и по отношению к блату все население СССР включая и членов партии, связано молчаливой круговой порукой.

*Бесхозяйственностью* фиктивно называется то, что носит ее внешние признаки, но вовсе не вытекает из ее психологии. Например: отходы не используются, машины без употребления ржавеют под открытым небом, уголь самовозгорается и т. п. В действительности всегда оказывается, что все эти явления вызваны условиями, созданными самой властью, но ответственность за их результаты возлагается на людей, в сущности, неповинных.

*Аварийность* — частота аварий на производстве. Зло, с которым власть борется. В плане фикции аварийность понимается как явление, зависящее исключительно от злой воли или недобросовестности инженерно-технического персонала и рабочих. Объективные причины аварийности отрицаются. В соответствии с этим борьба с аварийностью распадается на два типа мероприятий:

а) предупредительные меры — это политическое воспитание, то есть изучение «Краткого курса» и «Биографии И. В. Сталина» и

б) последующие меры, которые сводятся к разысканию и строгому наказанию виновных в каждом отдельном случае.

*Аварийщик* — виновник аварии, по большей части мнимый.

*Противоаварийные тренировки* — фиктивный способ борьбы с аварийностью, представляющий собой дополнительную нагрузку и дополнительную демонстрацию активной несвободы рабочих и инженерно-технического персонала.

*Штурм* или *аврал* — напряженная работа на предприятии, проводимая, не считаясь с нормами рабочего дня и силами рабочих. Обычно имеет место в конце месяца, квартала или года при недовыполнении плана. Официально признается злом, за которое, по официальному же толкованию, ответственны его конкретные носители, то есть администрация предприятия, а не система. Проблемы подачи сырья, топлива, электроэнергии, вагонов и пр. в плановом государстве согласно этому толкованию

должны разрешаться индивидуальными усилиями предприятий (и разрешаются в действительности при помощи блата), в порядке конкурентной борьбы между ними. Менее ловкие признаются виновными.

*Штурмовщина* — словечко, клеймящее применение штурмов. Борьба против нее ведется в плане пропаганды и репрессирования виновных, причем вполне лицемерно.

*Агрессор* имеет только фиктивный смысл. Под «агрессором» понимается всякое иностранное государство, которое не обнаруживает безоговорочной готовности подчиниться видам и требованиям СССР и против которого решено провести пропагандную или военную кампанию. В 1939 году, например, агрессором оказалась Финляндия.

*Бандитизм.* Наряду с сохранившимся первоначальным значением слова, бандитизмом называется всякое вооруженное сопротивление сталинизму. Политическое убийство — бандитизм. Восстание Антонова — тоже бандитизм.

*Реакционными* называются все политические, научные или эстетические взгляды, непригодные для эксплуатации их сталинизмом, тогда как —

*Прогрессивными* или *передовыми* именуются взгляды на данном этапе полезные власти.

Слово *измена* может употребляться только для обозначения ухода из социалистического лагеря, никогда не наоборот.

*Дружба* может быть трех родов: 1) Совместная деятельность на благо дела Ленина-Сталина. Требует величайшей бдительности, так как, скатываясь, скажем, в болото оппортунизма, один друг неизбежно тянет за собой «на поводу» другого. При соблюдении бдительности, однако, одобряется властью. 2) Поверхностное приятельство, главным образом, бытового характера, хоть и влечет за собой опасность «семейственности», допускается властью. 3) Дружба в первоначальном значении слова. Отнюдь не забыта советским народом. Преступление против преданности делу Ленина-Сталина, ибо эта преданность должна стоять превыше всякой дружбы.

*Общественным мнением* именуются мифы и фикции, провозглашаемые властью через актив и лицемерно в порядке активной несвободы приемлемые народом.

Классовым, пролетарским, революционным или большевистским *чутьем* называется умение безошибочно различать, где именно проходит «генеральная линия партии», то есть понимать эзотерический смысл получаемых директив и заданий и облекать их в должное пустословие.

*Следствием* — комплекс действий, приводящих подследственного к чистосердечному признанию своей вины в любых, указанных ему следователем преступлениях.

*Перековкой* — фикция исправления преступника, к которому его будто бы приводит система воспитательных мер. Система эта является чистейшей фикцией. В действительности слово «перековка» означает эксплуатацию труда заключенных и ничего больше.

Эту расшифровку переосмысленных или заново созданных в советском языке понятий можно было бы продолжать долго. Фикционалистическое, действительное и упорно незабываемое первоначальное значения слов хаотически перекрывают в советском языке одно другое, придают ему многосмысленность и часто мешают реальному пониманию сказанного.

Исследование советского языка, постепенно все более и более точно отражающего как экзотерическую, так и эзотерическую стороны советской жизни, кажется нам поэтому одним из вернейших путей к пониманию сталинизма. Лишь с величайшим сожалением мы прерываем здесь наш анализ, даже не попытавшись его систематизировать, и переходим к нравственному облику сталинизма.

Часть третья

# Нравственный облик сталинизма

## *Глава 1*

# ЭТИКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕИ

*Моральный релятивизм и мораль фанатиков. Революционная целесообразность и личная совесть. Право на преступление.*

Тяжкие преступления, которыми запятнал себя Сталин и его соратники, достаточно известны. К ним вполне применимо обозначение созданное для гитлеровского национал-социализма: преступления против человечности.

Объяснять их личными свойствами И. В. Сталина, однако, так же неверно, как сваливать ответственность за преступления немецких национал-социалистов на личность Адольфа Гитлера. Преступный характер сталинской диктатуры — закономерное следствие развития марксизма-ленинизма и, прежде всего, марксистско-ленинской этики, этого плода противоречий, как внутри коммунистической теории, так и между этой теорией и практикой.

В резком противоречии с моральным релятивизмом марксистской теории, пафос первоначального коммунизма был пафосом самоотвержения и жертвенности. Он был несом стремлением добиться поставленной цели *чего бы это ни стоило*. В благости этой цели не было никаких сомнений. Безусловно искренний пафос «Коммунистического манифеста» был пафосом освобождающего преображения ненавистной его творцам капиталистической действительности.

Самоотверженность зачинателей коммунистического движения и на Западе и в России была нравственно полноценной. Первые коммунисты и там и

здесь не искали ничего для себя и готовы были пожертвовать всем ради торжества революции. Они были фанатиками и их мораль была прежде всего *моралью фанатиков*.

Моральный релятивизм, черным по белому записанный в марксистских книгах, никогда не воспринимался всерьез служителями коммунистической идеи. Их мораль исходила не из рационалистических, наукообразных положений исповедуемой ими теории, а из ее революционного пафоса, из ее веробразных утопических элементов.

Уже в «Коммунистическом манифесте», как только речь заходит о пролетариате и той правде, которую он несет миру, понятие правды абсолютизируется. Уже Маркс и Энгельс дают почувствовать, что во всей домарксовой истории человеческого рода истина была относительной, но лишь до тех пор, пока человечество не станет на дорогу коммунизма.

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» — вот, как мы знаем, первый догмат, установленный Лениным и положивший начало современной коммунистической псевдорелигии. Формальное утверждение этого догмата было бы невозможно, если бы он не был эмоционально уже утвержден в пафосе тогдашнего коммунизма, в морали коммунистической идеи. Маркс и Энгельс еще любили говорить об относительности истины. Ленин догматизировал абсолютность коммунистической правды, совершенно соответственно содержащемуся в ней революционному пафосу.

Моральный релятивизм марксистской теории, отказ от общечеловеческой морали и признание нравственности одной из форм общественного сознания, проявлением классовых интересов при определенных исторических условиях, с самого начала был ограниченным. Марксизм проповедовал относитель-

ного пролетариата. Мораль последнего с самого начала была принята за абсолютную, потому что царство коммунизма может быть построено только революционным пролетариатом и это царство в иерархии этических ценностей является ценностью абсолютной, подобно раю в мусульманской и христианской религиях. Даже ранние марксисты только в сознании исповедовали моральный релятивизм, бессознательно уже они были моральными абсолютистами.

Убежденный коммунист верил в истинность своей идеи с неменьшим пафосом, чем верил в Коран правоверный мусульманин эпохи расцвета ислама. Здесь находим мы то же разделение на верных и неверных, на пролетариев по происхождению и по духу и на буржуа по происхождению и по духу, то же стремление вести священную войну против неверных.

В этом фанатизме была только одна, свойственная, впрочем, и всякому фанатизму, нравственно достойная черта — преданность своей идее, готовность пожертвовать собой во имя идеи.

Хотя сами коммунисты и отрицали верообразность своей убежденности, но по существу своему коммунизм входил в души своих последователей как новая ортодоксальная религия, которая призвана заменить христианство. Главный источник силы тогдашнего революционного движения лежал в вере одушевлявшей его адептов. Но в этой фанатической вере таился и главный источник будущей аморальности. Ибо *ради окончательной победы своей идеи коммунист был готов не только на жертву, но и на преступление.* Он относился с совершенным пренебрежением к созданным в течение веков моральным принципам, к правам человека, к верности данному слову, к свободе совести, к ценности человеческой жизни... Сравнение с исламом здесь становится невыгодным для коммунизма. Последова-

тельному коммунисту с самого начала незнакомо уважение к противнику; и он с самого начала не признавал даже минимума общечеловеческой морали. Отрицание общечеловеческих ценностей очень скоро приняло форму своего рода «принципа вседозволенности», принципиальной безжалостности. Для последовательного коммуниста начала революции совершить кражу, убийство, предательство было только вопросом целесообразности, не означало никакого нарушения нравственного закона, существование которого он, опираясь на материализм и релятивизм марксовой теории, решительно отрицал.

Склонность зачинателей большевизма к нравственной вседозволенности происходила, однако, не из своекорыстия, а опять-таки из фанатизма. Преступление, совершаемое в интересах революции просто не считалось ими за преступление, тем более, что они чувствовали за собой достаточно своих единомышленников, которые одобряли их поведение и готовы были содействовать ему. Коммунистическая мораль того времени не прощала только одного: измены Делу Революции. Убежденный коммунист тех дней привык подчинять свою совесть предмету своего служения и потому все больше и больше терял чувство нравственной ответственности.

*Этика раннего коммунизма может быть поэтому обозначена, как этика «революционной целесообразности»*, причем понятие «революционной целесообразности», то есть полезности в достижении целей революции, по мере внутреннего становления большевизма стало все определеннее расшифровываться как укрепление диктатуры пролетариата. Именно это определение, а не подсказанное марксистской доктриной определение коммунистической этики как одного из видов коллективного утилитаризма отражает ее существо, ибо оно сразу выводит нас на главную дорогу ее дальнейшего развития.

Экономические ценности в первоначальном марксизме претендовали на центральное положение, так как политика по марксистской доктрине лишь оформляет тенденции развития производительных сил.

Но практика очень скоро показала большевикам, что для успеха их дела отнюдь не следует считаться с наличным состоянием производительных сил. Достаточно вспомнить о революции в России, одной из наиболее отсталых в экономическом отношении европейских стран. Главное различие между ленинизмом-сталинизмом и классическим марксизмом состоит как раз в примате политики над экономикой. «Без низвержения устарелого политического режима дальнейшее развитие производительных сил, экономических основ общества, невозможно. Поэтому вопрос власти, политической власти есть основной вопрос всякой революции». «Политика есть концентрированное выражение экономики». «Политика не может не иметь преимущества перед экономикой». (Ленин).

Но политика есть прежде всего стремление к организованной власти над людьми. Соответственно этому уже ленинский большевизм преисполнен волей к власти, и этика его стала этикой абсолютного властвования. Повторяем, даже в условных терминах коммунистической фразеологии, определение «этика революционной целесообразности» для марксизма в действии, то есть для большевизма, существеннее чем прежнее определение марксистской этики как «коллективного утилитаризма». Ибо то, что приближает торжество социализма, а не то, что нужно для блага рабочего класса, а тем паче для его сегодняшних потребностей соотвествует ленинскому пониманию нравственности.

Такое положение есть результат той смены верховной ценности, которая характеризует развитие большевизма от раннего его этапа к современному

сталинскому. Воодушевлявшая первоначально коммунистов идея коммуны, грядущего бесклассового общества, послужила как бы трамплином для этой подмены, ибо именно пафос раннего большевизма, его стремление создать коммунистическое общество чего бы это ни стоило, открыл двери для той этики вседозволенности, которая одна только вполне соответствует сталинской воле к тотальному властвованию и активной несвободе.

«Цель оправдывает средства» — гениальная формулировка Макиавелли нигде не употреблялась большевиками (для основоположников большевизма она была связана с абсолютизмом и фидеизмом), но именно она является уже при Ленине неписаной нормой их поведения. Наличие своего рода «принципа вседозволенности» пронизывает собой всю ленинскую и сталинскую практику, для которой теоретические формулировки служат, как мы уже знаем, либо полезной фикцией, либо своеобразным шифром. «Принцип вседозволенности» зашифрован ленинскими фразами об «издержках революции», оправдываемых «революционной целесообразностью», то есть полезностью для достижения цели.

Принцип вседозволенности во имя революционной целесообразности очень скоро придал коммунистической морали еще один ее существенный признак — *категорический характер и максимализм ее требований*, который ясно чувствуется уже у Маркса и составляет затем основу ленинской позиции на втором съезде РСДРП, то есть у колыбели большевизма. Он выразился тогда в требовании, чтобы каждый член партии активно участвовал в работе на революцию, безоговорочно выполняя указания руководства партии. Этот максимализм, моральное содержание которого постепенно стало принимать все более и более фиктивный характер, играет и теперь огромную роль, выражаясь в требовании стопроцентной преданности делу Ленина-Сталина, в

культе перегруженности, в перевыполнении всякого рода плановых заданий, в необычайных, требующих сверхчеловеческих сил «достижениях» и, наконец, в той беспощадности (отнюдь не фиктивной), с которой сталинская власть относится как к своим врагам, так и своим служителям.

Полный отказ от каких-бы то ни было этических норм по отношению к противнику и к «чужим» совершенно естественно привел к отказу от этических норм и по отношению к «своим». Требования руководства к членам партии приняли постепенно императивный характер. Личная совесть партийца должна была замолчать, когда заговорило полным голосом партийное руководство.

Принцип вседозволенности для рядового члена партии оказался на практике приказом безоговорочно выполнять требования руководства. В порядке выполнения этих требований (такое положение вещей вошло в полную силу уже только после революции) члену партии дозволяется любое нарушение как нравственных, так и правовых норм, но дозволяется оно лишь в порядке выполнения требований руководства. Уклонение от этих требований, это как раз единственное, что ему не дозволено. Указания партийного руководства становятся на место нравственных норм и личной совести, рассматриваемых как «пережитки капитализма в сознании».

Руководство партии берет на себя установление должного и недолжного, революционно целесообразного и «играющего на руку классовому врагу». Беспрекословное выполнение его решений — вот единственное реальное требование коммунистической партийной морали.

Специфически мессианский характер коммунистической идеи, требовавший безоговорочного принесения прошлого и настоящего в жертву будуще-

му, первоначально лежал в одушевлении грядущим блаженным «царством свободы», но с развитием большевизма постепенно застыл в форме слепого исполнения «указаний товарища Сталина», который один во всей вселенной, обладает ныне способностью безошибочного определения должного и недолжного.

Сказанное дает нам уже основание сделать вывод: *уже мораль коммунистической идеи представляла собой с формальной стороны подобие теономной* морали, которая требует подчинения Божьей воле, даже если эта воля требует от человека невозможного. Христианское утверждение «невозможное для человека возможно для Бога» находит соответствующее выражение у коммунистов — «нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики».

Коммунизм, как мы уже знаем, по своей природе верообразен, отсюда и мораль его с самого начала обнаруживает своеобразные черты лицемерного сходства с религиозной моралью. Но мы уже знаем также, что не следует проводить эту параллель слишком далеко, потому что в коммунизме отсутствует основной мотив всякой религии — вера в иной мир и чувство ответственности перед этим миром. И все же, повторяем, этика большевизма, особенно в раннем периоде его становления, имеет точку соприкосновения с религиозной этикой, точнее с этикой того типа религиозного фанатизма, который прикрывает как раз сомнение в вере, если не прямо неверие.

Грань между первоначальной этикой коммунистической идеи и этикой позднейшего сталинизма здесь проходит совершенно ясно: в коммунистическую идею можно было верить; в современную догматику верить уже совершенно невозможно. *Мораль современного большевизма есть не что иное, как лицемерная имитация фанатизма.* Она подобна тео-

номной морали, но подобие это лицемерно и не может пойти дальше формы.

Как с точки зрения раннего, так и с точки зрения позднего большевизма нравственно достойно то, что «революционно целесообразно». Но если суждение о том, что целесообразно и что нецелесообразно у фанатика коммунистической идеи осуществлялось личной совестью, то для современного большевика «революционная целесообразность» устанавливается в Политбюро ЦК ВКП(б) и в форме «указаний партии, правительства и лично товарища Сталина» «спускаются» к нему для беспрекословного проведения в жизнь, независимо от того, что говорит ему совесть. *Личный совестный акт, еще живой для служителей коммунистической идеи, упраздняется для члена сталинской партии.* Искренний энтузиазм строителей нового мира подменяется казенной имитацией восторженного согласия с полученными указаниями.

Стремление к построению нового мира и к созданию нового человека, свободного от «пережитков капитализма в сознании», уже у Маркса соединено со стремлением уничтожить капиталистический мир и переделать человечество, не останавливаясь перед полным искоренением классово чуждых элементов. Можно смело сказать, что большевизм с самого начала был больше устремлен к уничтожению старого мира, чем воодушевлен пафосом построения новой культуры, контуры которой были большевикам того времени крайне неясны.

Призыв к революции, хотя бы во имя строительства нового мира, есть уже призыв к разрушению, ибо в момент революционного взрыва страсть к разрушению безусловно сильнее, чем воля к созиданию. Обозначение коммунизма, как «евангелия ненависти» — больше, чем литературное преувеличение. Ибо, что такое призыв к революции, как

не объявление войны всей «буржуазной» культуре? Причем объявление войны тотальной, когда «классово чуждые» пролетариату элементы должны быть лишены всех их социальных, политических, экономических, культурных функций, вполне обезоружены и полностью искоренены. Коммунистическая теория в этом пункте является лишь зашифрованным выражением большевистской практики; если выбросить из нее превращенные в фикции понятия *пролетариата, буржуазии, классовой* борьбы, *революционности, построения социализма* и т. п., пафос ненависти обнаруживается совершенно ясно как основная нравственная сила большевизма, присутствие которой сказывается уже в «Коммунистическом манифесте». От «экспроприации экспроприаторов» Маркса до «грабь награбленное» Ленина только один, вполне естественный и вовсе не широкий шаг. Следующий шаг от фанатического энтузиазма ленинской ненависти к холодному и систематическому сталинскому террору есть только логическое следствие. Как бы далеко ни ушла практика Сталина от теории Маркса, разница не так велика, как это может порой казаться.

Как Раскольников по своей совести присвоил себе право на убийство старухи-ростовщицы, так и большевики присвоили себе право на ликвидацию буржуазии, а затем и кулака «как класса», или, в расшифрованной форме, право на уничтожение всего небольшевистского. *Право на преступление* — основополагающий *принцип* большевистской *нравственности*, к которому нам, в силу его огромного практического значения, еще предстоит вернуться.

Борьба между пролетариатом и буржуазией, согласно марксистской теории носит тотальный характер. Это борьба — не на жизнь, а на смерть. Эта борьба может кончиться только уничтожением одного из противников. Если марксизм и не отрицал великих заслуг капиталистической культуры, то в процессе борьбы между пролетариатом и буржуа-

зией, то по ленинской догме вся правда находится на стороне пролетариата. Первоначально из этого положения возникает двойная мораль, одна по отношению к «своим» (пролетариат), другая по отношению к «чужим», безжалостная только к буржуазии и ко всем общественным группам, которые противостоят революционному пролетариату. Культ этой двойной морали особенно характерен для раннего коммунизма, но держался в большевистской практике по крайней мере до середины тридцатых годов и исчез только с окончательным установлением сталинизма.

Совершенно так же, как в духе расовой теории нравственно хорошим признается все, что идет на благо «избранной расы», и «низшие расы» должны послужить только объектом для ее господства, вследствие чего по отношению к ним не обязательно соблюдение каких бы то ни было нравственных норм, так же коммунизм стал рассматривать своих противников как людей неполноценных. Если ты «классово чуждый элемент», ты исключен из состава «прогрессивного человечества». И в случае победы коммунизма ты не должен ожидать пощады. Сталинизм может тебя использовать для своих целей. Но как только надобность в тебе миновала, с тобой будет покончено, раз ты «чуждый», а следовательно враждебный элемент.

Всякая двойная мораль в конечном счете всегда сводится к одному основному положению: «если украдут мою корову, — это плохо, но если я украду чужую корову, — это хорошо». Всякая двойная мораль, если это не мораль примитива, лишена основного признака нравственного закона, его универсальности. Недаром коммунистическая мораль уже в теории есть «классовая мораль» и только в перспективе отдаленного будущего, после ликвидации классовых различий, приобретает общечеловеческий характер. Классики коммунизма принципиально отрицают общечеловеческую мораль, утверждая, что

нормы морали обусловлены исторически и каждому общественному классу свойственны особые морально-этические воззрения.

Это утверждение больше, чем традиционный этический релятивизм, учение об относительности нравственных ценностей. Традиционный этический релятивизм обязывает к терпимости, коммунистическая же мораль с самого начала исполнена принципиальной нетерпимости. Пролетариат есть для нее единственный класс, способный быть носителем истины. Поэтому пролетарская мораль, есть высшая форма морали. Пролетариат (расшифруем: руководство партии) имеет право и даже обязан в ходе своей борьбы переступать через все препятствия и быть безжалостным к противникам; он имеет право преступать любые законы. Марксизм-ленинизм учит, что противоречия могут быть устранены только на пути борьбы. «Чтобы не ошибиться в политике, нужно проводить непримиримую классовую пролетарскую политику» учит в «Кратком курсе», тов. Сталин.

Двойная мораль, однако, жива и действенна только до тех пор, пока она согрета искренней любовью к «своим». Ранние коммунисты поначалу действительно сочувствовали рабочим и возлагали на них большие надежды. Это сочувствие сменилось равнодушием и даже презрением, как только обнаружилось, что «рабочий класс сам по себе не может пойти дальше тред-юнионизма» (Ленин). Диктатура пролетариата не была и не могла быть осуществлена. Она оказалась фикцией уже в самый момент революции и была подменена диктатурой большевиков над всем населением России, в том числе и над пролетариатом. Пролетарии, особенно после революции, становились большевикам все более и более чужими. Забота о них, проявляемая советской властью в первое десятилетие после революции, там где она не была пустой демагогией, носила характер воспоминания о когда-то живом увлечении.

То же случилось и с партией. В конце концов для большевистской морали вообще не осталось «своих», и она перестала быть двойной моралью. Одновременно она потеряла последние искры сострадания. Она стала вполне непримиримой и вполне безжалостной.

Ранние марксисты, в том числе и Плеханов, и Ленин, считали последовательный детерминизм, разрушивший «вздорную побасенку о свободе воли», великой заслугой марксизма. Как и Ленину, ранним большевикам казалось, что в теории человеческих отношений, где до Маркса господствовала случайность, хаос и «так называемая свобода воли», только детерминизм способен навести порядок. Вслед за Марксом и Энгельсом они были убеждены в том, что до вступления в коммунистическое общество человек остается несвободным и только в финале мировой истории предсказывали «скачок из царства необходимости в царство свободы».

Но динамизм и бескомпромиссность, которые Ленин вложил в большевизм, несовместимы с полным отрицанием свободы воли. И в полемике с Михайловским, именно там, где он именует свободу воли «вздорной побасенкой», Ленин решительно настаивает на нравственной оценке человеческих поступков. Для него «идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий». К сожалению, Ленин не уточняет, как именно он мыслит себе возможность совести и, очевидно, все-таки нравственной оценки поступка, отвергая при этом «побасенку о свободе воли». Но будучи сам ярко выраженной волевой натурой, Ленин не только в практической деятельности, но и во всем, что им написано, обличал и порицал своих противников и хвалил своих единомышленников, как если бы, совершенно независимо от классовой принадлежности и исторических условий, они

могли изменить свое поведение и несут за него ответственность.

Сталинский диамат находит тут, вполне в духе Ленина, выход в учении об обратном воздействии надстройки на базис, которое в сочетании с учением о мобилизующей и преобразующей роли идей возлагает нравственную ответственность на кого угодно и за что угодно. Индетерминизму в то же время бросается упрек в том, что он делает ответственность непонятной и невозможной, так как свободный человек становится игрушкой случая и собственных прихотей.

В результате в марксистской философско-партийной литературе уже до революции и особенно в первые годы после революции встречаются такие выражения как «моральная ответственность» и «революционная совесть». С установлением сталинского абсолютизма эта терминология начинает оттесняться на задний план и переосмысливается как «ответственность перед партией». Это весьма характерное изменение терминологии: оно показывает, что *ответственность перед партией*, как инструментом сталинского руководства *упразднила ответственность перед ценностью революции*. Иначе говоря, здесь не остается больше места для личной совести, даже в том смысле, в каком ранний большевизм сохранял это понятие. Теперь речь может идти только о партийной совести, точнее о совести исполнителя, а не свободного человека. Остатки совести заменяются страхом. И роль обвиняющей и наказующей совести переходит в функцию карательных органов.

Но мораль страха не может быть моралью в подлинном смысле слова. Поэтому, строго говоря, в сталинскую эпоху вообще нельзя говорить о моральной ответственности в подлинном смысле слова. Служебный аморализм коммунистической идеи, вседозволенность во имя конечной цели, сменяется аморализмом принципиальным, липенным и пафо-

са самоотвержения по отношению к себе, и сострадания по отношению к другим, и личной совести как критерия должного и недолжного.

Первоначально верообразие убеждений, свойственное носителям коммунистической идеи, было подлинным верообразием. Сочетание фанатической верности с абсолютной беспринципностью, готовностью к жертве и к преступлению, при полном отсутствии своекорыстных мотивов и полном презрении к общепринятым понятиям о добре и зле, создавали, казалось, некий «новый антропологический тип», как его пытался обозначить Бердяев. Тип этот был действительно марксистским. (К нему, очевидно, принадлежал и сам Маркс.) Он отражал в себе основное противоречие научного социализма и очень скоро погиб (и должен был погибнуть), как только это противоречие оказалось лицом к лицу с жизненной практикой. Этика фанатика-бунтаря уступила место этике активного властепоклонника, единственными добродетелями которого являются преданность и бдительность, то есть активная покорность власти.

## *Глава 2*

# ЭТИКА СТАЛИНИЗМА

***Отношение сталинизма к добру и злу. Мораль руководства и мораль исполнителей. Властепоклонство и фактопоклонство. Преступление и преступность.***

Верховные ценности сталинизма — активная несвобода и возведенное в абсолют принудительное властвование.

Этика сталинизма носит соответственно гетерономный характер. Если КПСС делает какое-либо добро, то совершается оно не во имя добра, а если творит зло, то творит его не во имя зла. И то и другое совершалось во имя «революционной целесообразности», а в соответствующей сталинскому времени расшифровке этого понятия, во имя укрепления и расширения активной несвободы и абсолютного властвования.

Совестная оценка поступков чужда сталинизму. Она подменяется оценкой их целесообразности. То, что служит целям сталинизма одобряется не потому, что почитается за добро, а потому, что само одобрение рассматривается как стимул для дальнейших аналогичных поступков, то есть потому, что одобрение это тоже целесообразно. Все не вполне сталинское уничтожается тоже не потому, что воспринимается как зло, но потому, что сталинизм не может терпеть рядом с собой ничего иного, и даже то, что выступает по отношению к нему как нейтральное или даже дружественное, в конечном счете, оказывается ему враждебно.

Показная, внешняя сторона этики сталинизма исходит уже не из марксистской теории, а из сталин-

ской псевдорелигии. Верховный жрец и божество этой псевдорелигии — Сталин, и различие между должным и недолжным, между «революционной целесообразностью» и «социал-предательством», между «генеральной линией партии» и «изменой» (Родине, делу Ленина-Сталина и т. д.) принадлежит исключительно ему.

Официальный нравственный облик большевика сталинской формации проникнут тем же фикционализмом, что и вся духовная жизнь сталинизма.

«Коммунистическая мораль» — такая же фикция, как и «морально-политическое единство советского народа» или «социалистический гуманизм». Рисуемый пропагандой нравственный облик «твердокаменного большевика» и «выученника Сталина» так же фиктивен, как фиктивны его добродетели — преданность, бдительность и активность. Ведь и сами эти добродетели суть добродетели вынужденные и готовы при изменившейся обстановке диалектически перейти в собственные противоположности — в зазнайство, самоуспокоенность, халатность и т. п.

Действительная мораль подлинного соратника Сталина сложнее. Преданность осуществлению эзотерического замысла сталинизма является его единственной подлинной нравственной характеристикой, основой его духовного характера. Это тоже вынужденная преданность заведомо злому делу, которое если и может не осознаваться как злое в рассудочной сфере сознания, то в совестном акте не может не обнаруживать своей злой природы. Подлинный сталинец не заблудившийся идеалист эпохи революции, но и не приспособленец, преданный генеральной линии партии, а вовсе не большевизму. Подлинный сталинец, однако, и не служитель чистого зла, свободным волевым актом избравший зло предметом своего служения. Он чистейший властепоклонник. Его приверженность ко злу есть лишь следствие нежелания различать ценности добра и

зла, правды и лжи, действительного и мнимого. А поскольку такое неразличение для существа, одаренного совестью, уже есть зло, то и этика сталинизма из релятивистической этики первоначального марксизма неизбежно должна была превратиться и превратилась в совершенно ясно выраженную этику зла, весьма плохо прикрытую лицемерным и поверхностным фикционализмом.

Если этику современной кипиталистической культуры можно охарактеризовать как этику добра, искаженную чрезмерной приверженностью к ценностям свободы и материального блага, то *этика сталинизма есть этика зла, искаженная лишь чрезмерной приверженностью к ценности принудительной власти и учреждаемой ею активной несвободы.* Поставленный перед добром и злом человек капиталистической культуры при прочих равных условиях всегда склонен сочувствовать добру, — сталинец — злу, ибо зло б*лиже ему духовно*, со*звучнее ему, симпатичнее ему* (в первоначальном греческом смысле слова), ибо зло не противоречит его жизненному идеалу, смыслу и цели его существования, тогда как добро ему противоречит.

Появление и развитие сталинизма есть поэтому, как нам думается, одна из величайших побед зла над добром во всей мировой истории.

Новый антропологический тип твердокаменного большевика, сочетающего фанатическую верность с абсолютной беспринципностью, по мере обнаружения природы большевизма как стремления уже не к всечеловеческому блаженству, а к тотальному насильническому властвованию, приобрел свое самое характерное свойство абсолютной безжалостности и с необходимостью раскололся надвое. При Сталине образовалось уже две категории большевиков: власть и подвластные. Носители власти, а вместе с нею и собственно носители сталинизма, это члены Политбюро, отчасти члены ЦК ВКП(б), отдельные вожди братских компартий. Субъективно, нравст-

венный облик этих людей — тайна, вероятно, и для них самих. Объективно — они приверженцы зла. Добро, красота и истина для них лишь помехи в осуществлении того замысла, служителями которого они являются. Мораль, укорененная в добре, для них тоже помеха, своего рода «пережиток капитализма», который они стремятся искоренить, ибо он, как и другие пережитки этого рода, перманентно грозит им «реставрацией капитализма».

Властвование силой очевидного добра, красоты или истины, свободное нравственное властвование им враждебно. Оно используется порой, когда это оказывается целесообразным, но в конечном счете оно всегда «играет на руку капитализму», ибо оно не только не устраняет, но прямо-таки утверждает основу всех человеческих свобод — свободу совести.

Верховной ценностью сталинизма является абсолютизированное насильническое властвование, ведущее к активной несвободе, а следовательно исключающее самую возможность доброй нравственности. Если этика раннего большевизма, при всей бессовестности ее основных норм все же была этикой ложного понятия добра, а фанатики коммунистической идеи были аморальны лишь постольку, поскольку они сами этого хотели, то абсолютная аморальность носителей сталинизма уже не результат свободно принятого решения, а принудительное следствие избранного ими пути. Именно здесь, в сфере нравственности, переход от раннего большевизма к сталинизму поистине скачок из царства свободы в царство необходимости.

Если ранние большевики оказывались в конфликте со своей (нормальной, человеческой, доброй) совестью, то в душах современных носителей сталинизма живет некоторое подобие злой совести, голос которой зовет их не к добру, а ко злу и упрекает не за злые, а за добрые поступки. Всякая правда в их руках с необходимостью оборачивается поэтому ложью, всякое доброе начинание неизбежно при-

носит злые плоды, все прекрасное окрашивается безблагодатной пошлостью, а все, утверждаемое ими как сущее, оказывается иллюзией. Насильническое властвование не может не стать враждебным добру, ибо добро непременно содержит в себе свободу. Оно становится поэтому властвованием во зле и, будучи по природе своей ценностью служебной, начинает служить злу.

*Аморальность приобретает в сталинизме автоматический, принудительный характер.* Она больше не результат заблуждения, но необходимое следствие приверженности ко злу, которая автоматически охватила большевизм, как только принудительное властвование стало верховным предметом его деятельности.

Коммунизм начал с того, что стал псевдонимом царства всеобщего блаженства. Теперь он становится псевдонимом царства абсолютного рабствования. Предстоит ли ему в конце концов стать синонимом чистого зла? На этот вопрос здесь, понятно, не может быть ответа.

Другая часть членов ВКП(б), то есть огромное большинство, никакой властью не обладают. Они — средство для охраны власти Сталина. Они признают эту власть, как непреоборимую реальность и служат ей, как раб своему деспоту. *Они властепоклонники только постольку, поскольку они фактопоклонники.* Они антиподы первоначальных фанатиков коммунизма, воплощенная противоположность бунтарей и революционеров. Они не подвергают явление сталинщины нравственной оценке не потому, что нравственная точка зрения им чужда, а потому, что они *не смеют* этого делать. Они тоже принудительно аморальны, но источник их аморальности не приверженность ко злу, не искушение, а страх. Страх заставляет их всеми силами имитировать всяческий энтузиазм и всяческую твердокаменность, всяческую бдительность, активность и преданность,

уже не коммунизму, конечно, а указаниям товарища Сталина. Не столько убеждения, сколько поведение членов партии определяется этими указаниями, вопреки их личной совести.

Требования, которые аппарат сталинской власти предъявляет как к партийцам, так и к беспартийным, максимальны. Сталинизм всегда требует непосильного и невозможного и привлекает своих вольных и невольных рабов к безжалостной ответственности. Но эта ответственность не имеет ничего общего с моральной ответственностью, это ответственность «уголовная» в специфически сталинском понимании этого слова, это ответственность страха, причем не элементарного страха перед внешней опасностью, — среди партийных и беспартийных служителей сталинизма немало людей, обладающих личной храбростью, — но специфического, часто бессознательного страха перед абсолютной беспощадностью Сталина. Ибо эта явная беспощадность психологически связывается с предполагаемым равным ей могуществом и заставляет ожидать грядущего наказания, как чего-то неотвратимого, как казни уже осужденного преступника.

Как сталинская система террора, слежки и доносительства проникает собой всю советскую жизнь, так и душу каждого советского гражданина пропитывает страх перед уклонением от генеральной линии партии и перед кажущейся ему неизбежной за это карой. Партиец и беспартийный осуждены равно дрожать перед пережитками капитализма в своей собственной душе, равно бояться своих собственных мыслей и, что еще хуже, своей собственной совести, ибо они не могут не чувствовать, что всякое сомнение в благости сталинских указаний, даже если оно было бессознательным, каждый совестный зов, даже если он не привел ни к какому поступку, равнозначен вылазке классового врага и подлежит суровому наказанию. Этот гнетущий страх образует в душе советского человека своего

рода суррогат «большевистской» совести, некий постоянно настороженный инстинкт.

Эта подделка совести есть нечто большее, чем простой страх, но нечто гораздо меньшее все же, чем совесть. Все желания и мысли, противоречащие указаниям товарища Сталина, делаются тайной душевной тенденцией, а все тайное в душе естественно переживается, как вина. Образуется своего рода *совесть страха*, совесть беспрекословного исполнителя, *или*, лучше, совесть духовного раба. Это не ответственность перед кем-нибудь, не перед партией *или* товарищем Сталиным, но перед безличным, анонимным аппаратом власти, *перед сталинизмом как таковым*.

Дело психологов подвергнуть более подробному анализу эту своеобразную смесь страха и совести. Наименование «большевистская совесть» может лишь условно отразить сущность этой смеси.

Моральная ответственность в системе сталинизма становится одним из видов уголовной ответственности. *Человек в этой системе не грешник, а преступник*, в новом, сталинском смысле этого слова.

Сталинизм в его целом, в лице немногочисленных его руководителей, символизуемых в имени Сталина и партии, присваивает себе, как мы уже знаем, право на преступление. Все, что совершается во исполнение указаний партии, правительства и лично товарища Сталина, похвально, ибо в этих указаниях выражается воля сталинизма. Все, что отклоняется от этих указаний есть ересь, грех, «преступление». Добро и зло, должное и недолжное как этические понятия — здесь совершенно не при чем. На страже интересов «мирового пролетариата», «дела Ленина-Сталина», «советского государства» стоит не коммунистическая мораль, а служба государственной безопасности СССР. «Морально-политически единый советский народ» в системе сталинизма становится собранием преступников, ибо именно потому, что сталинское руководство «никогда не оши-

бается» и совершаемые им ежечасно преступления — лишь реализация присвоенного им себе права, все, что делается вопреки или просто помимо его желаний, становится преступлением.

Понятия «преступника» и «преступности» играют поэтому в советской жизни роль несравненно большую, чем в любой иной культуре. Понятия же «моральный» и «аморальный» становятся все более и более фиктивными. Они означают лишь мнимое душевное состояние человека, в зависимости от внешней целесообразности признаваемого за «советского человека» (высокоморального) или за «врага народа» (носителя проституированной буржуазной морали).

Очерк о большевистской этике будет поэтому неполным, если не ввести в него главу о преступности в СССР. Обратимся к этой главе.

# *Глава 3*

## МОРАЛЬНАЯ ПРАКТИКА СТАЛИНИЗМА

*Преступность и борьба с нею. Все советские люди — преступники. Соблазн добром. Миф о преступности как выражение борьбы власти с населением.*

Стремление к тотальному властвованию над человеком заставляет сталинскую власть рассматривать всякое проявление непокорности как ересь, грех, преступление. Поскольку же непокорность эта неистребима, каждый гражданин становится в глазах власти преступником, уличить которого при надлежащем подходе к делу возможно и необходимо.

Применение тех или иных санкций есть поэтому только вопрос целесообразности. Репрессии в СССР планируются и применяются исключительно в целях укрепления власти. Они вовсе не наказания за совершенные преступления, а метод терроризации населения. Террор же — не только гарантия прочности советского строя, но и первоусловие возможности существования мира мифов и фикций, этого существеннейшего элемента в системе сталинского властвования.

Сама техника осуждения намеченной жертвы целиком определяется именно этими положениями. Вопрос о соответствии наказания совершенному преступлению чрезвычайно мало интересует советскую юстицию, ибо применение того или иного вида репрессии диктуется соображениями целесообразности, а не справедливости.

Не говоря о репрессировании лиц, действительно уличенных в действительных преступлениях, для

борьбы сталинской власти с подвластным ей населением характерно то, что репрессии в СССР планируются не только из политических, но и из хозяйственных соображений. Применяемый при этом метод заключается в том, что сначала намечается жертва, или категория жертв, а затем уже «пришивается» преступление и фабрикуются «доказательства».

Степень реальности того или иного преступления может быть весьма различна. В случае обвинений политических она обычно совершенно ничтожна, в преступлениях же бытового характера, таких как хищение социалистической собственности, нарушение трудовой дисциплины, совершение незаконных сделок и т. п., — относительно велика, ибо в правонарушениях такого рода можно при желании уличить любого советского гражданина. Когда реальные улики в совершении преступления налицо, суд и органы государственной безопасности охотно ими пользуются, представляя обвиняемому даже некоторые, очень несовершенные судебные гарантии. Если их нет, то делу придается политическая окраска и оно решается в органах, которые уже совершенно бесконтрольно фабрикуют обвинительный материал. Доказательства вины в этом случае «полное признание» обвиняемого, вынужденное у него приемами, хорошо известными в СССР, так называемые «агентурные сведения», «убеждение» судей и их «большевистская совесть». В этих случаях судьи подсудимого, как правило, не видят и решают дело на основании следственных материалов; никаких гарантий для подсудимого не существует; защита отсутствует.

В России образовалась пословица: «был бы человек — статья найдется». Работа службы государственной безопасности проводится в плановом порядке, с предварительной разверсткой подлежащих репрессированию лиц по календарным срокам и с последующим уточнением в сторону повышения.

Население делится, по прекрасной народной формулировке на тех, кто сидел, кто сидит и кто будет сидеть.

Если не особенно важно, какое совершил человек преступление в действительности, то, разумеется, не важно также, соответствует ли наказание преступлению. Оно должно соответствовать статье уголовного кодекса, а статья приписывается более или менее случайно, в зависимости от фантазии следователя, характера имеющегося материала и, главное, от характера проводимой чистки. Поэтому о массе лиц, отбывающих то или иное наказание, можно сказать, что никакого преступления они не совершили и, во всяком случае, что они нисколько не преступнее своих нерепрессированных сограждан.

Как бы то ни было, но часть населения, которая официально признается преступниками, огромна. Если общее количество осужденных в некоммунистических странах выражается в дроби процента, то в СССР количество отбывающих наказание составляет до 10% населения, а если к этому прибавить уже отбывших, то окажется, что общеее число преступного элемента превысит 50% населения страны.

Честный, высокоморальный советский гражданин, всецело преданный партии и правительству и всегда с одинаковым энтузиазмом принимающийся за выполнение любых руководящих указаний — фикция, очень полезная и нужная сталинизму, но отнюдь не отражающая действительности. *Сталинизм в своей практике знает только преступников, уже уличенных или еще не уличенных.*

Этика сталинизма определенная нами как своеобразный вид этики зла, искаженной лишь волей к тотальному насильническому властвованию, видит в человеке своего рода «грешника наоборот». Проблема «соблазна добром», стоящая перед такой этикой еще ждет своего исследователя.

В своем нравственном делении сталинизм идет по пути лицемерия и зла, а на этих путях природная склонность человека к правде и добру становится источником величайших соблазнов и искушений. Наиболее сильными, — и в своей практике советская власть весьма считается с этим, — оказываются соблазны добра самому себе, своим близким, своему народу, искушения искреннего общения и понимания подлинной природы вещей.

Об образующемся нравственном характере советского человека в результате постоянного давления власти и непрерывной борьбы с ним, мы еще будем говорить. Основа этого характера, стихийное неприятие сталинизма и его морали, ведет к тому, что *уклонение* от *служения сталинизму и нарушение устанавливаемых им правовых норм не почитается советским человеком за преступление.* Вседозволенность тайной морали сталинщины входит в нравственный характер советского человека, если можно так выразиться, «с другого конца». Нравственно дозволенным здесь почитается любое нарушение любых предписанных властью норм. (Не приходится говорить, что это же является основой и общей нравственной распущенности советских людей.)

Преступая те или иные нормы, советский человек не чувствует за собой никакой нравственной вины. Удерживает его от этого только внешняя обстановка — страх наказания или личная выгода. *Советский человек так же аморален в отношении к сталинской власти, как эта власть аморальна в отношении к нему.* Независимо от того, как субъективно переживается это отношение тем или иным носителем власти или подвластным, объективно оно означает отношение неизбывной вражды, стихийной преступности на одной стороне и систематического преследования этой преступности на другой. В условиях сталинщины все население СССР состоит из преступников, борьба с которыми является важнейшей задачей сталинского государства.

Коммунистическая теория понимает государство как аппарат насилия и полагает, что насилием исчерпывается его сущность. Коммунизм как идеальное состояние общества — не знает государства. Государство тогда уснет, по выражению Энгельса, и найдет свое место в музее древностей рядом с бронзовым топором. Тогда не будет ни тюрем, ни судов, ни полиции, ни преступников. Но теперь СССР только еще идет к коммунизму; в нем построено бесклассовое общество и социализм. Но это не безгосударственное состояние; наоборот, государство не только существует, но его функции насилия обострены до крайности. Социалистическому государству нужно право и карательные органы; в нем преступность отнюдь не умерла и потому для органов государственной безопасности и юстиции еще много работы. Классовая борьба обостряется.

Это положение — не что иное, как типичная теориеобразная зашифровка действительного отношения власти к совершаемым по отношению к ней актам непокорности. На двусмысленном языке сталинского фикционализма здесь говорится о том, что весь «морально-политически единый советский народ» есть народ-преступник, властвовать над которым можно только при помощи мощного аппарата принуждения (государства).

Как в отражении фикций и шифров большевистской теории, так и на самом деле, природа права в СССР иная, чем в системе кипиталистической культуры, и природа преступности также иная.

На условном языке марксизма-ленинизма право в условиях диктатуры пролетариата есть классовое право, которое и не скрывает своей классовой сущности. Оно призвано служить интересам трудящихся. Советское право есть система норм, установленных советским государством, и направленных на охрану завоеваний социалистической революции, на защиту, закрепление и развитие социалистических отношений и построение коммунистического общества.

Статья 6 УК РСФСР гласит: «Общественно опасным признается всякое действие или бездействие, направленное против Советского строя или нару-

шающее провопорядок, установленный Рабоче-Крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени».

Уберем фикции из этой статьи: «Преступлением в условиях сталинского владычества признается всякое действие или бездействие, направленное против сталинизма или идущее вразрез с желаниями партийного руководства, как в настоящее время, так и на ближайшее будущее».

Фиктивно одна из важнейших задач советского права — борьба с пережитками капитализма в сознании и быту советских людей. Фиктивно советской властью созданы все предпосылки для исчезновения преступности. В советской стране нет эксплуатации человека человеком, нет безработицы и неуверенности в завтрашнем дне. Исчезли такие деморализующие факторы, как развращающее влияние роскоши на одном полюсе и нищета и беспросветность существования на другом. Советское право не есть измышление кучки эксплуататоров. Оно есть возведенная в закон воля советского народа, состоящего из дружественных классов рабочих и крестьян, а также трудовой интеллигенции. Важнейшим политическим фактом существования советского народа является его морально-политическое единство. Советское право опирается на факт этого единства. В социалистическом обществе, впервые в истории человечества требования права совпадают как с общенародными, так и с правительственными воззрениями. Нормы права, установленные государством, подкрепляются моральными нормами, носителем которых является общественное мнение. Оно — могучая опора советского права. Бурный рост благосостояния трудящихся, идущий на смену капиталистической нищите, в высшей степени содействует образованию социалистического общественного мнения и морально-политического единства советского народа.

На языке сталинских фикций, капиталистическая волчья мораль, хотя и потеряла под собой с упразднением частной собственности всякую почву, к сожалению, продолжает еще господствовать в сознании отдельных советских людей. Ее заповеди —

«держи, что имеешь, хватай, что можешь» и «государству отдать поменьше, себе урвать побольше» — должны были исчезнуть вместе с капитализмом, но не совсем исчезли.

Мы изложили здесь связанные со сталинским пониманием права фикции с достаточной полнотой и пользуясь советской фразеологией. Специфический характер советского права становится ясен из этих определений, которые в свете предыдущего изложения могут быть расшифрованы примерно следующим образом:

«Пережитки капитализма в сознании» (соблазны доброты) охватывают решительно все проявления собственного мышления и личной совести человека. Борьба с ними, создание нового, вполне покорного сталинизму подобия сознания и обеспечение абсолютной покорности в поведении человека — важнейшая задача карательной системы. Цель сталинской политики добиться такого состояния, при котором люди безропотно (на языке сталинского фикционализма «добровольно») отказались бы от всяких попыток противодействия сталинщине. Советский правопорядок в своей основе есть правообразное оформление таких отношений между властью и населением, которые обеспечивают абсолютную покорность населения власти.

Катастрофический «рост преступности» или, иными словами, превращение всего населения подвластных Сталину территорий в настоящих, прошлых или будущих преступников, — его естественное следствие.

Как это может быть? И чем объясняется исключительная энергия карательных органов в стране «бурно растущего социалистического самосознания», то есть в стране, где население не только всегда покорствует власти, но и имитирует свой энтузиазм по этому поводу?

Если попытаться дать объективный ответ на вопрос, «каковы же действительные размеры преступности в СССР?», то ответ этот может быть только один: в отношении к советским законам 100% населения СССР являются не потенциальными только, но действительными преступниками.

Две причины определяют это колоссальное развитие преступности: первая — тайная ненависть и отвращение огромного большинства населения к советской власти и к нормам социалистического общежития и вторая — невозможность физического существования без нарушения этих норм.

Возьмем хотя бы социалистическое соревнование. Оно и первоначально-то было свободным движением масс только в официальном его толковании, в послевоенный же период стало обязательным и формально. Это «соревнование» делает условия труда невыносимыми. Невозможность открытого протеста заставляет каждого рабочего искать спасения на преступном пути. Так возникают явные преступления, как лодырничество, рвачество, летунство. Но чаще преступные действия замаскированы: допущенный брак проводится, например, при попустительстве бракера и мастера под видом продукции третьего сорта, недоделанная работа оформляется как законченная в основном. Крестьянин в колхозе ненавидит свою работу и нередко понимает, что чем он будет добросовестнее трудиться, тем хуже будет его жизнь. Совершенно неизбежно всякого рода очковтирательство, с помощью которого достигаются высокие показатели соревнующихся бригад. Население всячески уклоняется от выполнения обязанностей, связанных с основным требованием социалистического трудового законодательства «от каждого по способностям» и достигает в искусстве этого уклонения величайшей виртуозности, основанной на заимствованном от самой же власти фикционализме.

Фиктивное выполнение планов («фальсификация отчетности»), сокрытие недочетов и провалов («лакировка действительности»), раздувание малейшего успеха в сверхчеловеческое достижение, — эти и подобные приемы широко используются советским народом, до министра включительно, в целях извернуться и «взять себе побольше и получше, а государству дать поменьше и похуже». Созданный для порабощения населения мир фикций используется им в борьбе с этим порабощением. *Основанные на фикциях и враждебные наро-*

*ду советские законы нарушаются или обходятся именно при помощи тех же фикций.* Государство отвечает на это детализацией законодательства, усилением контролирующего аппарата, все новыми и новыми способами внедрения в массы социалистической сознательности, причем в этих способах советскому праву принадлежит почетная роль. *Война между государством и его гражданами — нормальное состояние в СССР. «Социалистическая этика» и «социалистическая законность» — оружие государства в этой войне.*

Но преступность не только средство самозащиты против государства, против его непрерывного наступления на жизненные интересы граждан. Преступность есть также единственное средство обеспечить себе возможность существования. Если бы колхозники не воровали у государства, они умирали бы с голоду. Воруют все, кто может. Крадут хлеб, бензин, утильсырье. Органы снабжения — это, одновременно, и органы расхищения государственного имущества.

В СССР существует два бытовых понятия, вокруг которых вращается вся жизнь: «липа» и «блат». Оба термина взяты из воровского жаргона. «Липа» значит документ, фальшивый или неправильно выданный. Первоначально на тюремном языке так назывались фальшивые документы, которые когда-то гравировались на липовых досках. Без «липы» миллионам советских людей податься некуда.

Вернулся человек из ссылки и паспорта получить не может. Он ухитряется получить «липовое» удостоверение, вместо утерянного якобы паспорта, дающее ему право временного проживания а уж с этой «липой» ловчится как-нибудь получить в другом месте настоящий паспорт. Выгонят человека со службы с порочащей отметкой в трудовой книжке, и он книжку «теряет», а взамен получает «липу», то есть справку о том, что он работал как ударник и проявил не только высокую техническую подготовку, но и большую общественную активность. И вот, глядишь, с этой справкой человек уже приостроился где-нибудь на стройке и начал новую жизнь. Человеку хочется удрать из своего колхоза.

Он поступает без всяких документов в другой колхоз рабочим и, проработав месяц-другой, получает «липовую» справку, в которой написано, что колхоз не возражает против временного перехода такого-то в город на производство. «Липовость» справки заключается в том, что колхоз не имеет права давать ее чужому человеку. Но о том, что он чужой, в справке, конечно, не говорится, и человек уходит в город и освобождается от ненавистного колхоза. Студенту третьего курса, скомпрометировавшему себя перед партийным начальством приходится бежать не только из высшего учебного заведения, где он учился, но даже из города, в котором он жил. Документы остались в вузе... Он поступает куда-нибудь на завод и одновременно на какие-нибудь курсы без отрыва от производства. Там получает «липу», на основании которой с потерей одного или двух учебных лет оказывается снова студентом — другого вуза, в другом городе. При всех хлопотах, например, о пенсии, о пособии на инвалидность, требуется огромное количество документов. Государство очень скупо, когда приходится на деле проявить заботу о человеке и неимоверно придирчиво, требуя полной коллекции документов, которой обладают только немногие счастливцы. И тут спасает, хотя далеко не всегда, та же «липа».

Еще более всеобъемлющее значение, чем «липа», имеет, конечно, «блат». Формально применение блата связано с более или менее явным нарушением советской законности, и при случае блат карается, порой очень даже жестоко. В Советском Союзе нет человека, который не пользовался бы, хотя изредка, блатом. В квартире советского обывателя выбито окно. Но получить стекло невозможно; гражданин начинает искать блат. Попасть на курорт, приобрести костюм, пообедать повкуснее, в конечном счете, можно только по блату. По блату можно получить нужные справки и материалы, устроится на работу по склонности, достать кожи на подметки и т. д. Это в частной жизни. Но и в жизни деловой, государственной без блата — ни шагу. Материалы, запасные части, вагоны для погрузки, горючее и тысячи других вещей можно получить вовремя только по бла-

ту. Сколько-нибудь дельный директор советского предприятия, помимо других качеств, должен иметь блат, должен находить блат. Без блата ни одно предприятие не выходило бы из прорывов; без блата ни один план не был бы выполнен: без блата советская власть не могла бы существовать.

Блат — отнюдь не взятка. Блат — это незаконная услуга, оказываемая по расположению душевному и в надежде получить услугу в свою очередь. Блат — это круговая порука деловых людей. К блату прибегают министры. Блат — необходимый коррективплановости, спасающий социалистическое хозяйство от паралича.

Пользование блатом — преступление, в котором повинно все население СССР. И не только потенциально, но ежедневно и совершенно действительно.

Это в области быта. Но не иначе обстоит дело и с преступлениями политическими. Разве не каждую минуту своей жизни вольно и невольно, сознательно и бессознательно советский гражданин «искривляет генеральную линию партии», «извращает смысл» получаемых директив, «идет на поводу» у антисоветских элементов, «впадает» в те или иные вредные «антипартийные теории и теорийки», «скатывается» в «болото оппортунизма» или «обывательской самоуспокоенности», и в результате нарушает некое число пунктов статьи 58 УК РСФСР?

Понятно поэтому, что с точки зрения власти все население страны преступно. Часть этих преступников не уличена, но преступники — все. Если преступник уличен, то несомненно, что часть своих преступлений и притом, возможно, наиболее тяжких, ему удалось скрыть. Поэтому, в конце концов, неважно уличен преступник или нет. Важно применение ассортимента кар в определенной пропорции, остальное — второстепенно. Принцип Екатерины II «лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного», глубоко враждебен духу социалистического правосознания. Сталинские юристы могли бы выставить тезис: «лучше осудить десять невинных, чем оправдать одного виновного», если бы с их точки зрения вообще существовала опасность

осудить невиновного. Но бояться этого им не приходится, потому что *невиновного быть не может.*

Не говоря о преступлениях в общечеловеческом смысле слова, о кражах, убийствах, изнасилованиях, поджогах, которых в СССР не меньше, чем в любой другой стране мира, всю огромную массу специфически советских преступлений можно разделить на две больших категории: I) преступления, порождаемые бытовыми условиями, назовем их условно «бытовыми» и 2) преступления, порождаемые политическим строем, назовем их условно же «политическими».

Наиболее распространенными *«бытовыми» преступлениями в* СССР, уже с тридцатых годов, являются: *покушение на священную социалистическую собственность, нарушение законов о трудовой дисциплине и небрежное отношение к общественному долгу.* Категории преступников многочисленны и классификация их весьма подробна. Это рвачи — люди, стремящиеся получить больше за свою работу, чем следует по мнению партии и правительства, лодыри, работающие плохо или вообще не желающие работать, летуны, переходящие с одного предприятия на другое в поисках лучших условий труда, прогульщики, бракоделы, халтурщики и т. д.

Советская общественная мораль и советское право борются с этими преступниками. «Своими нормами они дисциплинируют людей и воспитывают их в духе социалистического сознания». Особенно трудна эта задача, по собственному неоднократному признанию коммунистов, в колхозах. Там ей противостоит «индивидуалистическая психика крестьянства, которую нужно перевоспитать на социалистический лад». Активную роль в этом деле играет колхозное законодательство.

Основную массу «бытовых» преступлений составляют те из них, которые направлены против социалистической трудовой дисциплины и социалистической собственности, то есть *против внедрения социализма в быт*, против того порабощения народа, псевдонимом которого этот социализм является.

Они являются по большей части неосознанной *стихийной формой борьбы населения с властью.* В

тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях преступники этой категории составляют, если в стране не производится как раз крупная политическая чистка, добрую половину всех репрессированных. Сидят они за преступления, преследуемые самыми разнообразными статьями уголовных кодексов Советских Социалистических Республик и тем не менее по необходимости совершаемые в той или иной форме ежедневно и ежечасно каждым советским гражданином.

Наказания за них распределяются советской юстицией мерою доброю и утрясенною, главным образом тоже на основании чисток, производимых не из чисто политических, а из хозяйственно-политических соображений. Статьи уголовного законодательства представляют в таких случаях лишь условное юридическое одеяние. Акты хищения социалистической собственности, нарушения трудового законодательства, фальсификации отчетности, превышения полномочий и т. п. неизбежно и неоднократно совершаются каждым гражданином. Не совершая их, он не в состоянии ни прокормить семью, ни выполнить доставшееся ему на долю ответственное задание партии и правительства, а ведь если это задание не будет выполнено, он опять же подпадает под ст. 58, уже как обманувший доверие, саботажник или вредитель.

Источники этих преступлений суть всеобщая нищета и план. Колхозник, похитивший из общественного амбара пуд социалистического зерна, отправляется мыть колымское золото по существу за то, что отпущенного ему на трудодни хлеба не достало, чтобы прокормиться. Инженер, нарушивший трудовое законодательство и самовольно покинувший производство, получает принудительные работы потому, что отдел кадров предприятия не пожелал ради него фальсифицировать отчетность, а дирекция не пошла на превышение полномочий. Если бы они, однако, помогли ему оформить уход, вполне возможно, что кара за нарушение трудового законодательства постигла бы их представителей. Выполнение плана невозможно без блата, а следовательно без превышения полномочий и очковтирательства. В

бухгалтерских отчетах не обойдешься без формулы «4 П» (П 1 — пол, для обоснования отчета; П 2 — потолок, с него цифры берутся; П 3 — палец, из которого высасываются недостающие данные; П 4 — перо, орудие производства).

Преступления, о которых идет речь — *интегральная часть советского быта.* Как политические чистки сопутствуют каждому новому зигзагу генеральной линии партии, так репрессии за бытовые преступления систематически проводятся на всех отстающих участках и в узких местах социалистического строительства, причем наказания за бытовые, т. е. неразрывно связанные со всей советской жизнью, преступления применяются очень целесообразно и преимущественно *на отстающих участках.* Их цель при помощи страха подтянуть отстающих до уровня передовых, добиться преодоления объективных трудностей путем максимального напряжения субъективных сил. Плохое положение дел, скажем, на советском транспорте рано или поздно непременно ведет к оживлению деятельности железнодорожных судов и осуждению большого числа лиц за преступления, которые до поры, до времени остаются безнаказанными в других, относительно более благополучных, отраслях народного хозяйства.

Так называемые «*политические преступления*» в СССР совершаются другой столь же многочисленной категорией советских преступников, обозначаемой в официальной терминологии как «социально-опасный элемент», а в просторечии как «контрики».

Эта категория преступников репрессируется по одному или нескольким пунктам 58 статьи УК РСФСР или соответствующим статьям республиканских УК, то есть по обвинению в действиях политического характера.

Нужно сказать, что сроки по 58 статье отбывают только те лица, которых считают потенциальными врагами советской власти. Приписываемые им преступления — антисоветская агитация, вредительство, саботаж, подготовка террористического акта, шпионаж, участие в подпольных контрреволюционных организациях, вооруженные выступления против советской власти — *фикции.* Более или менее

осознанные антисоветские убеждения у осужденных «контриков» почти всегда, однако, имели место уже до ареста и, уловленные партией или органами, послужили основанием для репрессии.

Но люди виновные, или хотя бы только замешанные в действительных активных действиях против советской власти, если они уличены, *на свободу уже никогда не выходят.* Их либо расстреливают, либо содержат в полной изоляции.

Техника этих чисток, разработанная образованной после убийства Кирова специальной комиссией государственной безопасности при участии лично Сталина, в своих общих чертах известна. Она основана на постоянном и по-видимому очень неплохо продуманном наблюдении за политическими настроениями всех групп населения, осуществляемом кадром секретных агентов политической полиции и партийно-политическим аппаратом. Незадолго до чистки, в соответствии с результатом этих наблюдений и с учетом того, какая группа по мнению Кремля подлежит наиболее полному разгрому (дело Рыкова-Томского — партийные круги, дело Тухачевского — военные и т. д.) устанавливается примерное число людей, подлежащих репрессированию. На основе точных директив, содержащих все необходимые признаки социально-опасного элемента, местными органами государственной безопасности составляются затем именные списки предполагаемых врагов народа. Рассматривается их личное дело. Собирается или, если нужно, создается дополнительный материал. Это делается обычно еще до ареста, но если много работы, то и после. Арестованному пришивается определенное дело, в котором его затем вынуждают «чистосердечно признаться». Опытные политпреступники на допросах отнюдь не защищаются, а только стремятся выяснить каково будет обвинение и признаются легко и свободно, предпочитая бесполезной борьбе сокращение длительности следствия и избавления от применения пыток.

Разница между тюрьмой и волей в СССР проходит не слишком резко. Людей свободных в либерально-капиталистическом понимании этого слова

в СССР вообще нет, есть только бóльшая или меньшая степень и, что гораздо важнее, различный характер порабощения.

Концлагерник — это раб в простом, элементарном смысле этого слова. Он подчиняется прямому, только условно замаскированному «перековкой», насилию. Свободный советский гражданин скован активной несвободой, обязательной для него псевдоверой в мифы и фикции. За свободу внешнюю он платит внутренним рабством.

Конечно, в концлагерях тоже есть и стахановщина, и соцсоревнование, и своеобразный слой лагерной знати, и сексоты, тогда как на воле многие весьма смело оперируют с фикциями.

Но принципиально соотношение все же таково: на одном полюсе советской жизни стоит член партии, ответработник, министр, облеченный огромной властью и располагающий огромными материальными возможностями, но духовно скованный, творчески уничтоженный обязательным псевдоисповеданием активно лицемерной официальной доктрины; на другом — какой-нибудь зэк, под конвоем марширующий на очередную командировку, но зато отдающий себе ясный отчет и в чудовищной сущности сталинизма и в своем отношении к нему.

Если внутренняя природа сталинизма — воля к тотальному властвованию проецируется сразу в двух планах, в плане реального властвования над материальным бытием человека и в плане активной несвободы, иллюзорного властвования над мнимым подобием коммунистического духовного мира, то в системе советских концлагерей и ссылок осуществляется преимущественно первая проекция сталинизма: заключенный физически вполне раб, но духовно он более свободен, чем любой советский гражданин, находящийся только еще под угрозой попасть за колючую проволоку. Жизнь в СССР на воле означает относительно лучшие материальные условия и относительно большую внешнюю свободу,

оплачиваемые, однако, «добровольным» (читай: «беспрекословным») отказом от свободы духа и от вытекающей из нее ответственности.

Каждый, кто стремится сохранить в условиях сталинщины духовную свободу, в силу связанной с ней ответственности подвергается «искушению добром». Противостоять этому искушению — значит идти против собственной совести, нарушать свободу собственного духа. Поддаться этому искушению — значит уже вполне независимо от описанных нами объективных условий, заставляющих людей преступать советские законы, сознательно противодействовать сталинизму. Нельзя не сказать, что население России, во всех своих религиозных, социальных и национальных группах, дало изумительно большое число людей, способных к такому противодействию.

Система репрессий и подход к каждому человеку, как к еще не уличенному или к уже уличенному преступнику, для сталинизма не случайность, а необходимейший вывод из его этического мироощущения и гарантия его прочности. Не будь карательных органов, не будь всевозможных стационарных и выездных судов, не будь заведомо невыполнимых указаний партии и правительства и порождающих преступления советских законов, не будь системы концлагерей и страха перед жуткими тяготами лагерной жизни, перед отрывом от семьи, от профессии, от всего, к чему вообще способно привязаться человеческое сердце, партийная пропаганда потеряла бы всякую силу. Стройный в своем роде мир мифов и фикций рухнул бы, а с ним вместе и социализм, и построившая его коммунистическая партия.

## Часть четвертая

# Советский человек

## *Глава 1*

# СОЗНАНИЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

*Сознание и сознательность. Сознательность как месторазвитие активной несвободы. Сознательность обывателя, сознательность активиста и сознательность антисоветского элемента.*

Перед внешним миром, а в значительной степени и перед самим собой *советский человек никогда не бывает откровенен.* Внешне он всегда играет роль стопроцентного беспартийного большевика. Внешне он старается удовлетворять предписанному стандарту. Он старается выполнить, а по возможности и перевыполнить, свою среднепрогрессивную норму, или по крайней мере достаточно убедительно делает вид, что старается. Он присутствует на цеховых собраниях, голосует за предлагаемые президиумом резолюции. Посещает какой-нибудь кружок по изучению «Краткого курса истории ВКП (б)» или биографии тов. Сталина. Занимается повышением квалификации. С удовлетворенным видом подписывается на заем. Занимается умеренно критикой и самокритикой. Откликается на всякое требование партии и правительства. Принимает на себя дополнительные социалистические обязательства. Включается в социалистическое соревнование. Словом, он хорошо знает свое место в том слаженном, срепетированном спектакле, который ставится партией на гигантской сцене Союза Советских Социалистических Республик.

В разговоре, даже когда он ограничивается обывательскими темами, — очереди, трамвай, ученье детей, получение или задержка премиальных, —

он крайне осторожен, чтобы не дать повода какому-нибудь доносчику пришить ему контрреволюционное выражение.

Когда нужно, легко и свободно говорит на политические темы, — тут он настоящий виртуоз. На всякие случаи жизни у него заготовлено бесчисленное множество словечек, штампов, цитат из классиков, и все это он применяет кстати, бойко и с величайшей уверенностью. У него в высшей степени развит талант забвения вчерашнего дня и смены своих фиктивных убеждений по команде. Никогда не коснется он по ошибке ни одного из многочисленных советских табу. Всегда сумеет он поддержать разговор на любую тему: возмутиться вредительством, одобрительно отозваться о качествах кандидата в Верховный Совет, сочувственно отнестись к поощрению индивидуального огородничества, сурово осудить разбазаривание колхозного имущества, покачать головой, слушая о поджигателях войны. Случись, и он ни перед какой иностранной делегацией лицом в грязь не ударит и в самой наивной и непосредственной форме выразит гордость достижениями своей социалистической родины и убеждение в обреченности капиталистического мира. Свои настоящие чувства он прячет так глубоко, что никакому наблюдению они не поддаются. Своей маски он никогда не снимает. Свою роль рядового честного советского человека он играет виртуозно. И этих артистов-виртуозов миллионы: в Советском Союзе — все артисты. Власть требует от населения такой игры и получает ее. На русском народе маска, и невозможно поверхностному наблюдателю разглядеть подлинное лицо его.

Душевные переживания советского человека остаются его тайной. Далеко не всегда можно их кому-нибудь поверить. Но и поверенные кому-нибудь, они остаются тайной.

Разобраться в этих переживаниях нелегко и самому их обладателю. Ведь ему надо разобраться в природе власти, в массе душевных конфликтов, возникающих при столкновении с советской действительностью, в личной судьбе. Он узнал бесконечно много, он понимает, что вокруг него делается так, как никакой иностранец никогда не будет в состоянии понять. Но он лишен общения. Обсудить возникающий вопрос, спросить совета — не у кого: обсуждать принципиальные вопросы в СССР преступление.

Но не всяких форм общения он лишен. Сочувствие и помощь пострадавшему в России возможна. Ее оказывают по мере сил, не вдаваясь в теоретические дискуссии. Так возникает под сталинской властью живая ткань человеческих отношений, зачастую, однако, плохо понятная и самому ее носителю.

Страх — конститутивное состояние психики советского человека. Свободы от страха он не знает: страх вечный спутник его дней и ночей. Кто не переживал пароксизма страха, когда вдруг ночью у его квартиры останавливается автомобиль, тот не может составить себе представления об атмосфере, в которой живет население самой свободной в мире страны. Совсем не анекдотом звучит рассказ об управдоме, который ночью стучит в квартиры жильцов: «Не беспокойтесь, граждане, ничего особенного, только пожар».

Страх обоюден для подвластных и для власти. Подвластные живут в вечном ожидании несчастий и экстраординарных мучительств, которые вот-вот обрушит на их головы власть. А власть живет в нестерпимом страхе перед своими подданными и в ожидании неизбежного возмездия. Страх родит насилие; насилие увеличивает страх и из этого заколдованного круга, который власть сама для себя создала, нет и не может быть выхода.

Вся история советской власти в России, вся история душевного развития русского человека под большевизмом есть история борьбы большевиков с их месторазвитием — Россией. Вольно и невольно эпоха советской власти превратилась для народной души в эпоху неустанной борьбы с нею. Борьбы, разумеется, страшной, но тем не менее требующей именно каждодневного *преодоления страха.*

Именно в этом каждодневном преодолении страха, в каждодневной душевной реакции на страх, в каждодневной борьбе за сохранение целого ряда душевных ценностей выковывается душевный и духовный облик современного советского человека, облик порой трудно уловимый, часто самому ему плохо понятный, но существенно отличающийся от дореволюционного русского и от современного европейца. Страх и преодоление страха наложили свой отпечаток не только на внешнее поведение, но и на самое душевную структуру советского человека, на самые глубины его психики.

Психика советского человека имеет явный ярус сознания, тайный ярус — подсознательное и своеобразнейший придаток — показной ярус, который мы, за неимением лучшего термина условимся называть «сознательностью».

Явный ярус у советского человека занят, во-первых, той будничностью, которая лишена всякого уюта, интимности, очарования, которая пассивна, как нигде на свете, совершенно безрадостна и очень тягостна. Бытовые заботы: советский человек вечно бьется, как рыба об лед, вечно крутится, как белка в колесе. Служебные интересы: требования власти, темпы, выполнение и перевыполнение, выжимание соков и вечные неприятности и опасности, даже в случае перманентного перевыполнения. И, во-вторых, — отношение к власти. Оно непременно должно проявляться вовне и это требует немалого

расхода энергии. Таково требование господствующей в СССР активной несвободы, уклониться от которого невозможно.

Это официальное отношение к власти, в свою очередь, имеет у каждого гражданина два одновременно сосуществующих и очень различных содержания. Первое — совершенно официальное, показное. Это — аплодисменты на собраниях, голосование за резолюции, подписка на заем, принятие на себя дополнительных социалистических обязательств и т. п. Все эти обнаружения советского человека совершенно стандартны, ничуть не выражают его внутреннего мира и не составляют в глазах власти никакой заслуги, а только *исполнение непременной обязанности*, уклонение от которой рассматривается как преступление и влечет за собой автоматическое возмездие.

Второе — внутреннее, но тоже не вполне искреннее, тоже не подлинное. Ненависть к советской власти оттесняется в подсознание из-за ее крайней опасности для ее носителя. Сам себя советский гражданин старается убедить, что советская власть не так плоха, по крайней мере, она могла бы быть не так плоха. Это полуубеждение не выбрасывается как вредный хлам, потому что с ним жить легче. Без него наступила бы такая безнадежность, что жить стало бы совсем невмоготу. И советский гражданин старается убедить себя, что он «*не враг советской власти*». И он действительно лезет из кожи вон, чтобы быть как можно более лояльным. Лояльность никого еще никогда не спасала от чекистской расправы, но такой гражданин старается убедить себя в том, что лояльность — это какая-то гарантия, какая-то защита от карающего меча сталинского правосудия. Что это совсем не так, он, разумеется, прекрасно знает, но знает это не сознанием, а другой, гораздо более глубокой частью своего существа. В сознании своем он — честный советский

гражданин. «Я честно служил советской власти, а вот меня посадили. За что?» В этом недоумении больше искренности, чем можно было бы подумать. Конечно, с точки зрения буржуазного права сажать его было решительно не за что, но сама эта точка зрения есть тяжкое преступление, и советский гражданин не может этого не знать. Его аргументация о лояльности свидетельствует только о его неполной искренности: он враг советской власти, он не в состоянии освободиться от таких пережитков капитализма в сознании, как категории права. Все его лояльное внутреннее отношение к советской власти существует только для внутреннего употребления и как преступное обнаружению не подлежит. И советский гражданин, опять-таки, не может этого не знать. В сущности его настроение может быть определено, как *воля к самообману*. Люди хотят быть обманутыми и готовы ради сладостной иллюзии клюнуть на всякую удочку.

Власть знает это настроение и умеет его использовать. На этом построены многие грубейшие трюки партийной пропаганды, все эти головокружения от успехов, все эти перегибы, все эти искривления генеральной линии партии и головотяпские распоряжения власти на местах. Обыватель всегда готов поверить искренности власти, когда она делает подобные заявления, то есть слово «поверить» здесь не подходит, но для тех процессов, которые происходят в сознании объектов тоталитарного режима еще не найдено подходящих слов, по крайней мере, их нет в нашем распоряжении. «Поверить» это значит убедить поверхность своего сознания в том, что оно верит и в то же время прибавить новый груз к тяжести абсолютного неверия, которое лежит в подсознательном.

К той же категории благочестивого самообмана относятся вздохи: «Вся беда от Сталина, кабы Ленин был жив, все бы пошло по-другому». Что пошло бы по тому же самому, что не могло пойти по-

другому, это вздыхающий в глубине души знает прекрасно. Но он отвергает это знание и воображает, что верит, точнее убеждает себя, будто он в самом деле верит.

Сознательность — это в высшей степени своеобразная *надстройка* над психикой советского человека, значение которой в его жизни огромно. Сознательность — это тот комплекс мыслей, чувств, взглядов, вкусов, убеждений, которые власть считает обязательными для советского гражданина. Это то, что с точки зрения власти для советского человека необходимо и достаточно; что же сверх того, то по меньшей мере подозрительно. Сознательность — это месторазвитие активной несвободы. Власть хотела бы, чтобы внутренний мир советского гражданина исчерпывался сознательностью. Впрочем, она хорошо знает, что это невозможно.

Сознательность — это миллион штампов, миллион грамофонных пластинок, которыми советский человек пользуется с величайшим искусством для демонстрации своей преданности делу Ленина-Сталина. Если какая-нибудь из пластинок на очередном зигзаге генеральной линии партии оказывается реакционной, она мгновенно выбрасывается вон и заменяется новой. От пластинок требуется одно: чтобы они с абсолютной чистотой отражали партийные лозунги и никак не отражали бы индивидуальности и действительных взглядов их обладателя. Они должны быть безличны, стандартны и ортодоксальны. Они должны проигрываться с видом полнейшей свободы и с интонациями преданности и энтузиазма. Они предназначены для власти и вообще для внешнего мира. Все, что полезно для самосохранения, переносится сюда и автоматически проявляется по мере надобности без участия живых сил личности, *не затрагивая ее интимного ядра*. Этот самый поверхностный слой сознания, функционирующий автоматически, обеспечивает личности огромную экономию душевных сил. Можно сказать, что благодаря соз-

нательности самый страстный энтузиазм и самая горячая преданность не стоят советскому человеку ничего или очень мало. Сознательность — это защитная оболочка личности, без нее она оказалась бы слишком уязвимой со стороны власти, уподобилась бы человеку с содранной кожей. Сознательность — это чистое достояние личности, но еще не сама личность. От интимного существа личности в сознательности нет ничего.

Сознательность — это сфера активной несвободы. Она имеет некоторые черты внешнего сходства с лицемерием европейского человека, но отличается от него существеннейшим образом. Лицемерие европейца несравненно более невинно. Оно есть именно «та дань, которую порок платит добродетели», оно исходит из чувства приличия. Сталинское лицемерие, напротив, неприлично в высшей степени, и советский человек нередко внутренне стыдится своей сознательности.

Лицемерие европейской культуры создано условиями и предрассудками общества и не представляет собой непреодолимой силы. По крайней мере, протест против лицемерия на Западе не невозможен. Лицемерие сознательности навязано властью и содержание его предписано властью же. Содержание сознательности не может быть отвергнуто, оно является неустранимой силой и всякий протест против него означает гибель. Сознательность служит прежде всего инстинкту самосохранения советского человека. Она — вернейшее средство его защиты от власти. *Советский народ отгородился от власти ее же собственными словами.* Но этим значение сознательности не исчерпывается. Она идет на потребу власти и способствует укреплению ее положения. Она делает это посредством давления на явный ярус сознания, оперируя при этом не чем иным, как фикциями.

Сознательность функционирует у различных советских людей различно. Есть множество психологи-

ческих типов; ни один не может целиком освободиться от сознательности, но отношение к ней у различных типов различно. Разнообразие индивидуальностей в СССР можно в этом отношении только грубо свести к трем основным типам: а) обыватель, б) активист, в) внутренний эмигрант.

а) Обыватель. Можно подумать, что между сознательностью советского обывателя и явным ярусом его сознания должна разверзаться пропасть. Это пропасть между его действительной душевной жизнью, которая вовне не обнаруживается, и фальшивой, которая, наоборот, существует только для внешнего обнаружения, происходящего с чрезвычайной демонстративностью и треском.

Казалось бы, что внутренний мир советского обывателя есть мир глубокого внутреннего раздвоения. На самом деле этого раздвоения нет. Обыватель его счастливо избегает посредством своеобразного приспособления сферы сознательности к явному ярусу сознания. Механика этого приспособления проста. «Социалистический трудовой энтузиазм», напр., это — обязательная фикция. Именно в качестве такой она и включается не в сознание, а в сознательность советского гражданина. Но для явного яруса сознания это включение не проходит бесследно. Человеку, только что перевыполнившему план и принявшему на себя новые социалистические обязательства, человеку, которого только что поздравлял парторг и имя которого красуется на доске почета, человеку, сознательность которого только что толкнула его сказать, что этими достижениями он обязан мудрому руководству правительства, партии и лично товарища Сталина, — стыдно признаться даже самому себе, что он лицемер и лжец, и что все окружающие понимают его неискренность и трусость, толкающую к этой неискренности. Он скажет себе, что так поступают все, что иначе не проживешь (и будет в этом в значительной мере прав), затем,

что нельзя же заботиться только о своих личных интересах, что надо приносить жертвы для общего дела, что наша страна разорена войной, что надо быть готовым и к новой войне, потому что... и дальше он уже может черпать сколько угодно аргументов из арсенала хорошо известных ему пропагандных фикций и договориться уже с самим собой до тех формулировок, которые он только что произносил публично и за которые ему в глубине души было стыдно.

Приспособление заключается здесь в том, что фикции, первоначально предназначавшиеся исключительно для сознательности переходят в явный ярус сознания. Переходят они, правда, не в своем первоначальном виде, а в несколько измененном. Для явного яруса сознания это не может пройти бесследно. Фикции давят на него, сжимают его свободу и усваиваются им наконец, пусть даже в измененном, очень измененном виде. В соотвественно измененном виде, в формах, которые человек сам для себя *сделал приемлемыми*, социалистический энтузиазм проникает в сознание и не может затем не определить в известной степени отношение советского человека к социалистическому строительству и притом определить в сторону, нужную власти. В результате большинство советских людей, несмотря на все оговорки, безусловно убеждено в том, что построенные при Сталине предприятия и на самом деле нужно было строить, что они и на самом деле нужны народу. То обстоятельство, что явный ярус сознания обывателя всячески избегает вступать в решительное противоречие с сознательностью, представляет собой чистый выигрыш для сталинизма.

Конечно, обыватель понимает, что видоизменение фикций, производимое им в целях их приспособления к его сознанию, есть преступление перед советской властью, подлежащее, в случае обнаружения, суровой каре. Поэтому приспособление это должно оставаться тайной для внешнего мира. Что всегда

есть риск раскрытия этой тайны, обыватель опять-таки превосходно понимает. Но этот обман спасает его от беды, гораздо горшей: от невыносимой тяжести внутреннего раздвоения. Внутреннее раздвоение тяжко и опасно тем, что означает ясное осознание себя *врагом советской власти*. А этого обыватель как раз хочет избежать. Он понимает, какую страшную опасность представляет для него отречение от активной несвободы, хотя бы в самых тайниках души.

*Сознательность есть вместилище фиктивной душевной жизни человека.* Но это отнюдь не безобидная надстройка, и она отнюдь не отделена наглухо от других сфер духовной и душевной жизни. Наоборот, она и деятельность сознания делает до известной степени фиктивной.

Действительное отношение советского обывателя к советской власти оттесняется в подсознание. Основным побудителем вытеснения душевных содержаний в подсознание у советского человека является *не стыд*, как у европейца, а *страх*, часто не вполне осознанный. Склонность задумываться над своим внутренним состоянием, разбираться в своих мыслях и чувствах в советских условиях вредна и опасна, и потому решительно подавляется. Страх, тяготеющий над душой советского человека, оказывается сильнее стыда. Его основная психологическая задача есть именно преодоление естественного стыда, квалифицируемого, как пережитки капитализма в сознании.

Явный ярус сознания советского обывателя — это трансформированная сознательность. Это сознательность подвергнутая обработке, приспособленная уже для внутреннего употребления. Не следует забывать, что и этот ярус не есть еще свободное сознание человека. Он жестоко деформирован страхом и отчасти стыдом, под влиянием которых он принимает в себя навязываемые властью фикции и делает их для себя приемлемыми. Это преступное приспо-

собление фикций к тем минимальным требованиям и претензиям, которые человек осмеливается предъявить к власти, не открыто, конечно, но в своем сознании.

*Сознательность — своеобразная трансформация явного яруса сознания. Явный ярус — своеобразная трансформация сознательности.* Советский обыватель в своем явном ярусе — Санчо Панса сталинизма. Советский человек в своей сознательности — актер-халтурщик, играющий роль Дон Кихота. Явный ярус сознания советского человека во многом подобен психологии множества буржуазных политических деятелей в их отношении к советской власти. Это — мир иллюзий, в которые человек не имеет силы верить и смелости не верить. Это — система самоутешений, несостоятельность которых очевидна, но отказаться от которых нет сил.

б) Активист. По-иному, не так, как у обывателя, властвует сознательность над душой активиста.

Что активист не хочет быть врагом советской власти, это понятно и это свойственно не ему одному. Все население Советского Союза, за исключением весьма сильного духовно, но численно незначительного меньшинства в страхе *отвращается* от *перспективы возложить на себя бремя сознательной* вражды к сталинизму. Уж слишком велика опасность подобной перспективы и немудрено, что против нее восстает инстинкт самосохранения.

Актив можно разделить на две части.

Лишь незначительная, хотя, несомненно, решающая часть советского актива состоит из людей, понимающих, что такое сталинизм и какому делу они служат. Это — отъявленные циники и карьеристы. Это — подлинные выученики Сталина. Для них за системой мифов и фикций стоит оголенная несвобода. *Они понимают, что делают.*

Подавляющее большинство *актива*, однако, *не хочет ведать того, что оно творит.* Оно живет в системе бессознательного или полусознательного самообмана. Оно всеми силами стремится доказать самому себе, что если не все, что говорит власть и что они повторяют за ней — правда, то все же это в какой-то мере приближается к правде. *Их сознательность служит сама себе агитатором.* Наиболее характерно для душевной жизни рядового советского активиста то, что он постоянно стремится к самообману и в большей или меньшей степени успевает в этом.

Понимание практического значения партийных мифов и фикций, и уменье применять их для достижения отнюдь не фиктивных целей уживается в его душе с наивной полувероЙ в них, искусственно поддерживаемой из страха и привычки.

Эта полувера чрезвычайно нужна активисту, потому что она позволяет ему заглушать голос совести и не обращать внимания на порой даже плохо скрываемую враждебность к нему окружающих (которых он, опять же в порядке самообмана, считает классовыми врагами) и на ту духовную пустоту, в которой он осужден жить.

С одной стороны, он хорошо знает природу низовой инициативы и стихийного движения масс и умеет вызвать к жизни это движение, совершенно согласно инструкциям власти, которые он получает в зашифрованной форме мифов и фикций; с другой стороны, в результате неустанного повторения этих самых мифов и подавления всякого проблеска критического отношения к ним, он сам отчасти верит в них. Он, с одной стороны, как и весь советский народ прекрасно знает цену доверия и почета, которыми он окружен, с другой (будучи совершенно лишен искреннего общения с окружающими) — полувер и в самом деле чувствует себя лучшим из лучших.

Эта расколотость психики, сочетание цинизма и полуверы чрезвычайно отягощают психику активиста. Он, конечно, может перейти из актива в ряды партийной бюрократии, — ради этого он и пошел в актив, но это — судьба немногих.

Психическое состояние активиста не может долго продолжаться и развивается всегда в одном направлении, а именно в направлении *утери всякого подобия веры в коммунистические мифы и фикции*. Но оно может привести к двум противоположным результатам: либо активист теряет самую способность верить, превращается в стопроцентного сталинца и по праву занимает ведущее место в системе сталинского властвования, либо он, не имея более сил для поддержания в себе коммунистических иллюзий, сохраняет в глубине души веру в то, что правда все-таки существует и тайно исповедует это убеждение. Тогда он становится тайным антибольшевиком, ненавидящим власть именно за то, что она заставляла его так мучительно обманывать самого себя. В качестве такового он иногда находит возможность постепенно отойти от активизма и, еще реже, случай перейти в лагерь борьбы с режимом. Но гораздо чаще он вынужден по-прежнему оставаться в активе и годами влачить свое ставшее невыносимым существование.

в) Внутренний эмигрант. От сознательности и ее пагубного влияния на душу в идеале свободны только «механические граждане СССР». Это делает их внутренне сильными, но это кладет резкую грань между ними и основной массой населения, усиливает их внутреннюю изоляцию от окружающей жизни, лишает их спасительной возможности отгораживаться от власти ее собственными словами и делает их в значительной мере беззащитными. В пределе внутренний эмигрант не принимает сталинских фикций не только внутренне, но и внешне. Он откровенно считает их за фикции и стыдит-

ся пользоваться ими даже в целях самозащиты; он гордится тем, что устоял перед соблазном лицемерия, и презирает тех, кто поддался этому соблазну. Но это вносит в его психику элементы пуританского чистоплюйства, чрезвычайно опасные и вредные.

Последовательный внутренний эмигрант, однако, давно уже стал музейной редкостью. И нам не стоило бы останавливаться на нем и его психологии, если бы тенденция к внутренней эмиграции, стремление отграничить себя от советской власти не была бы совершенно неизбежным спутником сталинщины. Ибо всякое неприятие советского строя, малейшее несогласие с очередными убеждениями ЦК ВКП(б) должно оставаться тайной, если не от самого неприемлющего, то во всяком случае от власти.

Первоначальная наивная форма внутренней эмиграции, «механическое гражданство СССР» — «советская власть меня не касается, я сам по себе, я только в силу обстоятельств, только механически являюсь советским гражданином» становится все более и более редкой. Она заменяется новой формой: неприемлющий советскую власть, часто вполне сознательный и убежденный враг сталинщины, заводит у себя надстройку сознательности и в случае надобности разговаривает о прогрессивности советского строя не хуже любого активиста. *Грань между ним и сталинизмом проходит внутри его сознания и* сказывается в том, что и к своей, и к чужой сознательности он относится с величайшим цинизмом, что, внешне поклоняясь фикциям, он внутренне от них совершенно освобождается и отдает себе ясный отчет в их характере и действительном значении. Его ненависть к сталинщине для него самого (а порой и для интимно близких друзей) отнюдь не тайна. Он смело берет на себя риск этой ненависти, в надежде, что бюрократический характер органов государственной безопасности не найдет средства узнать о подлинных содержаниях его сознания. Явный ярус его души не находит нуж-

ным приспосабливаться к сознательности, он не пытается примириться с нею, не стремится трансформировать ее в приемлемые для себя формы. Его сознательность — защитная маска и ничего больше. Отношение такого человека к окружающей его социалистической действительности, прежде всего, циническое. То, что живет в рядовом советском обывателе тайно от него самого, для этой категории людей перестало быть тайной. От самих себя они ничего не скрывают, и своеобразный, очень характерный для многих советских людей тайный ярус мыслей и чувств у них, собственно говоря, отсутствует.

Итак, имеется три вида сознательности, соответствующие трем человеческим типам:

а) Сознательность обывателя. Она, а также ее приемлемый для ее носителя вид в сознании, есть дань, платимая обывателем страху.

б) Сознательность активиста — это средство самообмана и связанного с ним самоуспокоения. Эта же сознательность — источник величайшей психической неустойчивости активиста.

в) Сознательность антибольшевика — средство обмана власти, сознательная маскировка, средство отгораживания от власти и некоторой, всегда крайне недостаточной, защиты от преследований. Требует для своего применения уверенности в себе и сознательного цинизма. Ценою этого цинизма покупается внутренняя свобода.

## *Глава 2*

# МЫШЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

*Принцип партийности и партийный заказ. Стратегичность мышления советского человека. Автогенные и гетерогенные элементы его творческого акта.*

Весьма действенным фактором в образовании сознательности советского человека является навязанный ему условиями жизни и коммунистической теорией тип мышления, который мы хотели бы назвать «стратегическим». Этот, принципиально рассудочный, принципиально прикладной тип мышления сводит человеческую мысль на степень средства для достижения всегда конкретных и всегда временных целей и вносит свою немалую лепту в сужение и без того сдавленного активной несвободой советского сознания. Он с самого начала был свойствен, прежде всего, самому большевизму и только вторично, рикошетом, главным образом в силу созданных большевиками условий, захватил советского человека.

Говоря о советских людях в плане анализа их мышления, мы отнюдь не имеем в виду тот тип людей, для которых мышление и открываемые им познавательные ценности составляют главный смысл жизни. Представители этого типа встречаются среди ныне живущих россиян не чаще и не реже, чем среди представителей любого другого народа в любую другую эпоху. Эти подвижники мысли, эти алчущие и жаждущие правды, которым только в Нагорной проповеди обетовано, что они будут насыщены, продолжают и сейчас свое великое дело. Ибо человек познавательного склада не может не

мыслить, как подлинный писатель не может не писать, как птица не может не петь весной.

Судьба таких людей подобна только судьбе религиозно одаренных граждан Советского Союза. Свойственная им бескорыстная жажда истины не оставляет возможности самообмана. Они могут только механически проживать на территории СССР. Их путь один — внутренняя эмиграция. Некоторым из них удается устроить себе незаметное место в советской науке, в музее, в архиве, в лаборатории и работать над частными проблемами, заботливо обходя все принципиальное, все основное и главное, с отвращением позволяя активу гримировать себя под сочувствующих строительству коммунизма беспартийных товарищей.

Основной кадр советских ученых составляют уже другие, может быть, не менее одаренные, но не обуреваемые жаждой правды люди. Эти уже вступают на путь самообмана. Они усваивают себе необходимую «стратегичность мысли», приспосабливают свой творческий акт к задачам, которые ставят перед ними партия и правительство и только контрабандой протаскивают в своих работах наиболее дорогие для них, порой высокоценные, творческие идеи.

Двойственное отношение к истине и к возможности познания истины, столь характерное для первоначального марксизма, было в значительной мере искренним. Оно было несомо верой в то, что все ученые — лицемеры и обманщики, кроме коммунистических первоучителей Маркса и Энгельса. Противоречивость этой веры преодолевалась горячим чувством революционера. Но долго продолжаться она не могла и с необходимостью была преображена Лениным и Сталиным в механическое сосуществование двух начал: догматического, утверждающего незыблемую и несомненную истинность всего того, что будет угодно объявить истиной партии, правительству и лично тов. Сталину, и релятивистического, открыто формулируемого только для невыгодных коммунизму истин, но втайне действительного и для самих сталинцев.

Это второе начало называется «принципом партийности» и выражается известной формулировкой «идеология есть оружие в классовой борьбе» и столь важным в коммунистической теории «критерием практики», когда правильность той или иной мысли оценивается с точки зрения ее практического значения.

Характернейшей особенностью ленинского типа мышления была с самого начала партийность самого понятия истины. *Сталинское же мышление* служит не разысканию истины — ему с ней просто нечего делать — оно *подчинено категории целесообразности*, в интересах которой даже прямая ложь может быть объявлена истиной.

Такой тип мышления мы и называем условно *стратегическим*. Его задача — не исследование и анализ, а *расчет*. Оно уместно там, где истина вовсе не нужна. Им пользуется домашняя хозяйка, когда думает о том, что ей лучше купить к обеду, но им же пользуется генерал, разрабатывающий план сражения, дипломат, стремящийся к заключению выгодного договора, и школьник, ищущий способа надуть своего учителя.

Само собой разумеется, что это стратегическое мышление есть мышление прикладное. Оно уместно только там, где мысль должна решать задачу практического характера и может претендовать лишь на нахождение наиболее выгодного решения, но отнюдь не на установление истины. Оно относительно (как и все прикладное), так как оно оперирует готовыми знаниями об истине, которую не оно открыло, и терпит провал, если эти знания оказываются не соответствующими действительности.

Склонность к стратегическому мышлению характерна уже для Маркса, написавшего, как известно, «Коммунистический манифест» за добрых десять лет до того, как ему стали ясны основные мысли «Капитала» и выдвинувшего «критерий практики» в качестве основного критерия истины вообще. Но не менее характерно и то, что именуя Маркса и Эн-

гельса великими учеными и мыслителями, большевики всегда напирали на то, что Ленин был «величайшим стратегом». Поворот к сознательно стратегическому мышлению начался именно с него и неизменный провал всех его стратегических идей и прогнозов следует объяснять не слабостью его мысли (мысль его была сильной и людей убеждать он умел), а лишь тем, что он всегда исходил из ложных предпосылок, что его знания об истине были мнимыми знаниями. Скажем в скобках, что с людьми, неспособными пересмотреть свои убеждения даже там, где они явно вступают в противоречие с действительностью, да к тому же обуреваемыми еще и страстным желанием господствовать над жизнью, иначе и не бывает.

В условиях хотя бы относительной свободы отказ от ненужного чистого мышления в пользу стратегического приводит к обмелению истоков культуры и к обеднению мысли, постепенно забывающей целый ряд якобы ненужных навыков.

В условиях тоталитаризма он приводит к худшему, к созданию фиктивных псевдоистин, нужных только в качестве оружия в борьбе, только в качестве средства для уничтожения самого интереса к объективной истине. В результате наука в СССР переходит к планомерному творчеству фикций. В сталинском замысле прикладные науки должны были бы служить, в конечном счете, производству оружия, а чистые науки — производству фикций.

Фикции эти, какими бы нелепыми они ни казались со стороны, в действительности в высшей степени целесообразны, так как они служат определенной цели, а именно *утверждению активной несвободы, как единственной возможной формы тотального властвования над миром.* Они служат этой цели и непосредственно, и посредством обслуживания второстепенных, временных и всегда побочных целей, возникающих на пути сталинизма к мировому господству. Только поэтому существующие в настоящее время в Советском Союзе фикции преходящи. По миновании надобности они без церемонии выбрасываются и заменяются новыми. Ведь фикция — это ложь, в принудительном порядке выдаваемая за истину. По миновании надобности она

объявляется лишь тем, чем она всегда и была, то есть ложью. *Развенчание фикций, отслуживших свой срок, единственная форма, которой Сталин послужил истине.* Но и это служение было вынуждено обстоятельствами.

В основе сталинского мышления лежит категория целесообразности. Но что такое целесообразность не вообще, а в ее конкретном проявлении? Каковы методы ее определения? Кто имеет право пользоваться этими методами? Кто имеет право определять, что ошибочно и что правильно?

Общий ответ на эти вопросы всем хорошо известен: целесообразно то, что служит делу Ленина-Сталина. Конкретные же ответы на зти вопросы с абсолютной гарантией их правильности может дать Сталин, и только он один. На нем, следовательно, лежит вся полнота ответственности за его собственное дело, а от помощников, от больших до самых малых, лежит только ответственность исполнителей. От этих исполнителей в виде полезного качества требуется иногда и мышление. Но мышление это должно быть партийным, то есть чисто стратегическим, должно решать только практические, поставленные властью задачи и решать их только в духе партии, правительства и лично тов. Сталина.

Нелепость и преступность этой точки зрения советский человек прекрасно понимает. Об этом свидетельствует ряд едких анекдотов о непогрешимости вождя. Но думать над этой темой дальше советский человек *боится* и, понимая нелепость абсолютизации стратегического мышления (ибо стратегическое мышление грех не само по себе, а только в его абсолютизированном виде), он на практике предан этому греху и не смеет от него отречься. Мышление советского человека сформировалось под давлением сталинизма. Влияние сталинизма на мышление советского человека сильнее его влияния на чувства и волю. Именно на этом фронте борьбы за

душу советского человека ему удалось достигнуть наибольших успехов.

Правда, советские ученые и теперь нередко пытаются уклониться от служения сталинскому идеалу науки. Борьба за научную мысль в СССР велась героическая и большой кровью, но *тяга к знанию*, столь характерная для русского народа до и в первые годы революции, довольно скоро была подменена *тягой к квалификации*.

Советский человек понимает, что квалификация нужна ему для того, чтобы удерживаться на поверхности столь бурного в СССР житейского моря. Но он понимает также (хоть, может быть, об этом и не думает), что *мышление, руководимое понятием истины, опасно для советской власти*. С этой опасностью борется власть, но с нею же из чистого инстинкта самосохранения борются и подвластные. «Размышление об истине, говорит советский человек, — да ведь оно опасно. Не мысли, завещал нам Бухарин. Толку все равно не будет, а обременишь себя разными уклонами, после и носись с ними». И советский человек решительным образом накладывает свое вето. Это вето тайно произносится в миллионах душ. Само это вето — преступление, ибо оно свидетельствует о факте возникновения «соблазна истиной», факте, который был бы ужасен для сталинской власти, если бы как раз с ним советский человек не справлялся куда проще и легче, чем с аналогичным ему и уже известным нам соблазном добром.

На службе, на производстве, в области науки и искусства мышление советского человека находится под мудрым руководством партии и правительства и вынуждено безотказно служить делу Ленина-Сталина и оперировать фикциями. *Дома оно состоит на службе у инстинкта самосохранения*. Думать об истине для среднего советского человека, в лучшем случае, роскошь, может быть и в самом деле непоз-

волительная, в худшем — очень часто, почти всегда — преступление.

*Тип мышления советского человека нужно поэтому определить тоже как стратегический.* И для него образцом является не умственная работа ученого, а умственная работа офицера генерального штаба. Жизнь ставит перед советским человеком не проблемы, а задачи, и правильность их решения оценивается не степенью соответствия их объективной истине, а практическим успехом. К объективной истине у советского человека сохранилось очень мало вкуса; зато практические задачи решать он — великий мастер, так как вынужден решать их множество в течение всей своей жизни.

Стратегическое мышление способно высоко оценить мысль «удачную», «правильную», что значит полезную для достижения цели. Стратегически ориентированный человек видит в мысли именно «оружие в борьбе», инструмент для достижения цели — и ничего больше. Он готов оценить и истину, если она может быть ему полезна, но для бесполезной истины у него нет ничего, кроме презрения.

Уже Ленин мыслил исключительно стратегически. Советский человек тоже мыслит, главным образом, стратегически. Значит ли это, что он ленинец?

На этот вопрос мы отвечаем «нет!» и отвечаем так потому, что если ленинский принцип партийности делает мышление стратегическим, то это вовсе не значит, что всякое стратегическое мышление направлено на ленинские цели. Бытийственное ядро как ленинского, так и сталинского большевизма лежит вовсе *не в мышлении, а в воле,* в той воле к тотальному властвованию, которой он одержим и которая одна только ставит ему цели и, следовательно, определяет содержание его мышления.

Стратегическое мышление есть мышление прикладное, мышление служебное, оно служит вне его самого лежащим целям, и критерий его лежит не в мысли, а в воле. Потому то и предлагаемые им ре-

шения обладают только относительной правильностью, то есть правильностью по отношению к извне поставленной цели. Они и должны быть только наиболее выгодны, наиболее правильны, наиболее верны по отношению к этой цели, отношение же их к истине всегда вторично.

Советский человек с его стратегическим мышлением был бы ленинцем и сталинцем в том случае, если бы он ставил себе ленинские и сталинские цели, то есть бескорыстно и искренне желал бы творить дело Ленина-Сталина. Но этого как раз нет. Стратегическое мышление советского человека поставлено на службу не Сталину, а стремлению выжить хотя бы и при Сталине, сохранить себя вопреки сталинщине.

*Мышление советского человека служит ему как раз оружием в борьбе со сталинизмом.* Будучи большевистским по форме, оно оказывается антибольшевистским по цели. Оно с успехом для его носителя разрешает задачи наиболее выгодного и безнаказанного нарушения советских законов, фальсификации отчетности, разбазаривания социалистической собственности. Оно используется советским человеком в основном для того, чтобы дать государству поменьше, а себе урвать побольше от скудных в условиях бурного роста благосостояния трудящихся житейских благ, до которых голодный советский человек чрезвычайно большой охотник.

Большинство советских людей живет, вынуждено жить, главным образом, личными интересами, так как служение свободно избранным ценностям в СССР невозможно. Указаниям партии и правительства оно подчиняется только постольку, поскольку это необходимо в интересах самосохранения. Мышление его до последней степени рационализировано и находится в тупике. Оно является стратегическим не по природе (история русской мысли свидетельствует скорее об обратном), а в результате трагических внешних условий, делающих чистое мышление

не только бесполезным, но и опасным. Истина, добро, красота в условиях активной несвободы, ведь, постоянные источники соблазна послужить им.

Поведение советского человека, поскольку оно определяется его мышлением, есть поведение *конъюнктурное*. Оно есть поведение существа, в каждом своем движении вынужденного приспосабливаться к внешней, в большинстве случаев, враждебной ему стихии. Но, приспосабливаясь, это существо упорно *не желает подчиняться*. Оно выкручивается и вывертывается с поистине сверхчеловеческой ловкостью; оно внешне и внутренне приспосабливается, хитрит и юлит, обманывает и власть и себя самого, когда это кажется ему целесообразным, изобретает тысячи вечно новых, но и вечно тех же форм блата, туфты, очковтирательства, семейственности, халтуры и пр. и пр. и пр., *но не покоряется*.

Да, конечно, сознательность как явное узаконенное лицемерие — это нехорошо. Да, приспосабливание своей внутренней жизни к этому лицемерию — тоже нехорошо. И мышление, употребляемое только для того, чтобы надуть власть, — нехорошо, и коррупция (не побоимся именно так назвать систему всеобщего воровства, перестраховки и надувательства) — нехорошо. Да, советский человек, особенно в своем мышлении, совершенно лишен принципиальности, он мыслит по целям и приспосабливается к конъюнктуре. Да, он нечестен даже с самим собой и собственными усилиями заполняет свое сознание мусором трансформированной сознательности.

Но, перечисляя пороки советского человека, не будем забывать *каким* режимом они ему привиты. Не будем забывать также, что они суть, прежде всего, защитная оболочка его упорно не сдающегося «я». И изучая его душевную жизнь, будем удивляться не тому, что он плох, а тому как он еще изумительно хорош, сколько честности, сколько правдивости и сколько подлинной человечности сумел

он отстоять и (теперь это можно сказать уже с полной уверенностью) *навсегда* отстоять у бесчеловечной власти! Ведь, приспособившись к сталинизму и даже, если можно здесь употребить это слово, даже «сжившись» с ним, он *не стал ни носителем, ни покорным рабом сталинской власти*. В его душе хранится некая святыня, не позволяющая ему сделать это. Понять ее их того, что он говорит, обычно нельзя. Для этого надо идти глубже, надо погрузиться в полусознательные, иногда вполне бессознательные сферы его души, попытаться понять его эмоциональные и волевые импульсы и, в первую очередь, его творческий акт.

Творческий акт советского человека по заданию власти должен был бы носить тот же стратегический характер, что и его мышление. Ведь творить в какой бы то ни было области советский человек должен тоже не по собственному усмотрению, а лишь партийно, то есть вьшолняя «задания партии, правительства и лично великого Сталина».

Взять хотя бы художественную литературу. В самом деле: уже с 1934 года, с I съезда советских писателей, объявившего их «инженерами душ», в служебно-пропагандистской задаче литературно-художественного творчества, в заказе, предъявляемом советским мастерам пера, уточнены все стандарты. «Угодишь, — наградим, не угодишь, — мой меч — твоя голова с плеч!» В такой, примерно, фольклорной формуле выражается категоричность, с которой авторы обязаны следовать стандартам партийного заказа.

В творчестве советских людей (не только литературном) внимательный исследователь должен поэтому особенно резко различать два плана: план заказанного автору и план субъективно авторского, не подвергнувшегося непосредственному искажению заказом, собственно творческого.

Истоки этого второго плана следует искать: субъективно — в неотменимом стремлении человека к

подлинному, не фиктивному самоутверждению и самораскрытию; объективно — в изначальной внутренней свободе творческого акта. *Искать этой свободы, вопреки и в обход партийного заказа, естественно для каждого творца* так же, как естественно человеку, которому приказали все время ходить на цыпочках, ступать все же на полную ступню, когда надсмотрщики отворачиваются.

Совершенно очевидно, что подавляющее большинство тем и их интерпретаций, навязываемых в качестве творческих объектов советскому писателю, внутренне чужды последнему, инородны его таланту и вносятся в его творчество как гетерогенные ему элементы.

Гетерогенна и чужда в советской литературе тема счастливой и зажиточной жизни, радости и энтузиазма социалистического труда, потому что творческие впечатления писателя фиксируют липь нищету, усталость и отчаяние; враждебна ему героика предательства, потому что этой героики он органически, а стало быть и творчески, ощутить не может; враждебна вообще обязательность воспевания фикций, потому что, будучи по самой своей природе не художественным вымыслом, а политическим лицемерием, эти фикции не образуют и не могут образовать «поэтической» (по выражению Белинского) действительности — естественного объекта художественного творчества.

«Поэтической», автогенной его творческому акту остается для художника лишь та действительность, в которой принудительные коэффициенты партийного осмысления и обобщения вынесены за скобки творчества. Подлинное, без партийно-пропагандного грима, кипение жизни; страдания, страсти и чаяния людей, не переосмысленная партийно любовь, не подгоняемая искусственно мечта о счастье — словом, всё, что как объект творческих ощущений в соединении с творческим «я» художника, только и может быть гармонически претворенным в художестве.

Десять лет спустя после смерти Сталина, когда творчество советских людей получит известный выход в «Самиздате», в переписывании и передаче из рук в руки отброшенных партийной цензурой художественных произведений, неизвестный поэт напишет:

«Лакирую действительность —
Исправляю стихи.
Перечесть удивительно:
И смирны и тихи,
И не только покорны
Всем законам страны, —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!..
Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю.
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу.

Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.

Я еще без поправок
Эту книгу издам!»

Появление в издательстве «Посев» в 1970 году произведений Анатолия Кузнецова и Виктора Некрасова без цензурных поправок чрезвычайно характерно.

Лишенный возможности выбора творческого объекта в целом, советский писатель, тем не менее, стремится отбирать мозаичные элементы созвучного ему автогенного в чужеродном ассортименте творческих заготовок партийного заказа. Именно этим объясняется, что во многих советских рома-

нах, повестях и позмах, среди бледных композиций заказанного, встречаются фрагменты подлинного мастерства. Именно в этом направлении осуществляются подневольным художником робкие поиски творческой свободы.

*Отталкивание от гетерогенного (часто совершенно неосознанное) есть основное творческое сопротивление советского человека активной несвободе.* Оно выражается либо в полном молчании (внутренняя эмиграция), либо в весьма интересных, нередко сложных приемах обхода партийного задания, совершенно стихийно возникающих не только в литературе, но во всех решительно областях человеческого творчества.

Один из не частых, но показательных приемов такого обхода — выбор автором темы прошлого. Автор в таких случаях, нарушая основной параграф партийной инструкции («тема современности — важнейшая тема советской литературы»), знает, что ему неизбежно придется фальсифицировать историю, но предпочитает подрумянивание минувших былей облыгиванию настоящего: подрумянивать приходится все же сравнительно немногое, остальное оказывается возможным сохранить в системе художественной правды. Как пример, назовем два романа К. Федина — «Первые радости» и «Необыкновенное лето». Федин загримировал в «стопроцентных сталинцев» персонажи революционеров (Кирилл, Рагозин), облик же артиста Пастухова, например, местами дан вовсе без грима, как и целая галерея других, не центральных по замыслу и совсем не обескровленных «методом» образов.

Более обычным является прием гетерогенного обрамления темы, по природе своей автогенной, творческой. Таков, например, рассказ К. Паустовского «Шиповник». Девушка, только что окончившая техникум, едет на лесопосадки. Всходя на пароход, она думает только о суховеях, от которых придется «закрывать собственным телом» молодые деревца, об «угрюмом начальнике в черной куртке» и тому по-

добных обязательных вещах. Приехав на место, яростно сажает в солончаки акации, пока не прилетает к ней летчик, встреченный ею на пароходе во время пути. Вот история о том, как девушка с этим летчиком познакомилась, как вместе сходили они на берег и любовались зарослями шиповника по сторонам прибрежной тропы и составляет творческое содержание рассказика. В лесопосадочную рамку это творческое вставлено совершенно условно, без всякой с нею внутренней связи: девушка с таким же успехом могла бы окончить техникум по животноводству и заниматься внедрением передовых методов повышения удоя. Замаскированная шаблоном оправы вставка написана зато правдиво и хорошо.

Столь четкое разграничение заказанного, гетерогенного, и творческого, автогенного таланту автора практически, однако, встречается не часто; подлинно свое, подлинно художественное представлено обычно незначительными оазисами в унылой пустыне предписанного автору целого.

Нередко, тем не менее, эти оазисы суть подлинно живые оазисы, освежающие хоть частично и окружающую пустыню. Совершенно понятно, что каждый автор (и каждый читатель) отдыхают душой, вступая в них, и ищут в них творческой и художественной компенсации фальши создаваемого и воспринимаемого целого. Очень часто они более или менее сознательно допускаемые властью более или менее безобидные отдушины. Вышеприведенные примеры относятся именно к этой категории.

Но иногда эти отдушины, подлинная жизнь души и подлинное творчество оказываются пригодными и для эксплуатации их властью. Тогда они санкционируются сверху и открывают перед творцом драгоценную для него возможность *сближения автогенного с гетерогенным, творческого с заданным.*

Основные темы современного советского творчества, в которых *сближение* или даже *совпадение*

*автогенного с гетерогенным* осуществляется, это, прежде всего, *темы патриотизма и мира.*

Патриотизм советский отличен, разумеется, от патриотизма в его общепринятом понимании, но само ощущение родины, ее души, ее природы — элемент органический, автогенный для всех (и даже тоталитарного) видов осмысления патриотизма. Именно этим объясняется значительное количество подлинно творческого в советской поэзии и советской прозе, вдохновленных патриотическим подъемом военных лет. В той же мере и желание мира не может не быть органическим для большинства советских людей, переживших ужасы последней войны, и если даже с коммунистической интерпретацией кампании мира они полностью не согласны, — страх перед новой войной остр и у власти, и у населения.

Темы патриотизма и мира позволяют циклам автогенного и гетерогенного совпадать, если не центрами, то сегментами настолько крупного размера, что читатель иной раз фальши партийного заказа не ощущает совсем. Тем сильнее его впечатление (тем сильнее, добавим в скобках, и запланированное пропагандное воздействие).

Стратегичность в значительной мере достигнутая советским человеком по предписанию власти в области рассудочных актов, немедленно покидает его, как только его деятельность начинает принимать активно творческий характер. Подлинное *человеческое «я», выражающее себя в творчестве,* остается *у советского человека совершенно таким же, каким оно было до того, как он стал «советским».*

Природа творческого акта и в условиях активной несвободы остается неизменной. И только в порядке надстройки возносится над ним фальшивый мир фикций. И только в порядке редкого исключения, редкой удачи удается советскому художнику преображение его в мир мечты, часто очень дешевой,

слащаво-сентиментальной или бодрящей, примерами которой могут служить популярные песенки: «Катюша», «Широка страна моя родная», «Москва», «На закате ходит парень» и т. п.

Почему советские люди, особенно молодые, в общем охотно поют эти песенки, — проблема уже не творческого акта, а художественного восприятия и эстетического вкуса советского человека. Мы скажем кое-что об этом ниже.

## *Глава 3*

# ТАЙНЫЙ ЯРУС ДУШИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА.

*Скептицизм и цинизм в условиях сталинщины. Цензура стыда и цензура страха. Природное влечение к добру. Правда и ложь в самооценке советского человека.*

В душевной жизни советского человека необходимо различать два слоя. Один — это приятие (всегда в той или иной степени условное) мира мифов и фикций. Приятие это обеспечивается страхом и выставляется напоказ, либо как власти, так и в трансформированной форме, самому себе, либо, в циинической форме, только власти. Другой слой — резкое отрицание активной несвободы и вытекающая из него ненависть к существующему порядку вещей. *Двойственность души советского человека — характернейшая ее черта.*

У людей, сознание которых заполнено переработанной в приемлемые для них формы сознательностью, ненависть к активной несвободе опускается в тайный ярус души (но еще не в подсознание). В этом ярусе хранятся у них неоформленные обрывки мыслей, чувств и желаний, о которых *страшно думать*. Страшно не только потому, что осознание их превращает человека в сознательного врага сталинизма, но еще и потому, что тогда придется стыдиться и своей сознательности и своего внутреннего приспособления к ней. Справиться с этим стыдом советскому человеку помогает культивирование в себе цинизма. Последовательные и сознательные враги сталинизма почти всегда циники, или по меньшей мере люди, любящие щегольнуть своим

цинизмом, понимающие вкус в цинизме. Отрицание советского строя принимает у них почти всегда циничеcкий характер. Срывая в первую очередь перед самим собой покров фикций с советской действительности, такой человек склонен тщеславиться приобретенным им якобы глубочайшим пониманием жизни, как звериной борьбы всех со всеми. Лишь немногие из них понимают, что своим отказом принять фиктивное добро коммунизма за пусть относительное, но все же добро, они поднимаются до совершенно ясного осознания заложенного в сталинщине абсолютного зла. Они воображают себя обычно людьми, ничему не верящими, скептиками и релятивистами. «Я всех людей считаю сволочами и редко ошибаюсь» — одна из их излюбленных формул. Некоторые из таких циников становятся последовательными оппортунистами и сознательно служат Сталину, отрицая самую возможность добра. Огромное большинство, однако, обнаруживает порой завидно высокие моральные качества и способно даже на самопожертвование, лишь бы сколько-нибудь повредить коммунистам.

Разоблачение мифов и фикций становится для них своего рода призванием, стихийной потребностью души. Грамофонные пластинки сознательности в их устах начинают звучать как бичующая насмешка. Такие обороты речи как: «это вам не при кровавом царизме» или «при нашей зажиточной жизни», произносятся ими с уничтожающей выразительностью. Из этого же источника происходит антисоветский анекдот и убийственные словечки, например по адресу освобожденных европейцев: «протянем вам братскую руку помощи, а ноги — сами протянете!»

*Антисоветские мысли и чувства, постольку, поскольку они вообще осознаются советским человеком, приобретают, как правило, скептический и цинический характер.* Но этот цинизм и скептицизм — по существу лишь новый самообман, лишь дик-

туемая опять-таки страхом попытка, сделать ненависть к сталинщине менее опасной для ее носителя, а следовательно и более приемлемой для его сознания.

Ни во что неверие человека, сумевшего освободить свое сознание от воздействия активной несвободы, поднявшего в явный ярус души то, что таилось до того в ярусе тайном, есть *новый самообман:* «вижу зло, лицемерие и ложь, но ничего кроме них вообще не вижу, а потому и не борюсь с ними, беру наш отвратительный мир таким, какой он есть, приспосабливаюсь к нему в меру необходимости (заметьте не «в меру сил») — надо же как-то жить».

Это рассуждение с головой выдает его автора. То. *что кажется ему скептицизмом, на самом деле — утверждение абсолютного, а в том, что высказывается им с таким цинизмом, внимательное ухо улавливает обличающий голос совести.* Ибо советский скептицизм происходит *не из сомнения* в добре или истине, а *из несомненности* окружающего зла и лицемерия. И не только советскую власть клеймит советский человек в анекдотах, злобных насмешках и очень циничных подчас формулировках, клеймит он беспощадно и самого себя. Когда еще во время коллективизации умиравшие от голода люди брали своих умерших товарищей и ставили их трупы, придавая им позу раскоряченного на пьедестале Ильича, то цинизм этой выходки несомненен. Но и понимание Ильича и его заветов совершенно так же несомненно. Понимание зла и лжи предполагает знание о добре и истине. То, что советский человек, прекрасно умея обличать сталинщину, нередко попадает в затруднение, как только ему приходится задуматься о своих положительных идеалах, свидетельствует лишь о том, что его знание о добре еще не понято им, в то время как уже достигнуто полное понимание природы большевистского зла.

Скептицизм советского человека не следствие природного равнодушия к истине, а его цинизм не

выражение нравственного релятивизма. Они вытекают из ненависти к предмету, несомненно, достойному ненависти и, как это ни парадоксально, но могут быть определены *скептицизм — как переодетая вера, а цинизм — как переодетая совесть*. Переодевание же их обусловлено двумя причинами: 1) эмпирическим их происхождением — советский человек начинает с познания несомненности зла и лицемерия, а не с акта уверования в открывшееся ему добро или истину, 2) страхом перед оформляющимся в его сознании крайне опасным бескомпромиссно антибольшевистским мировоззрением, требующим от него такой беспощадности к самому себе, на какую обычный человек не способен.

Как служение абсолютному добру ведет человека к святости, к абсолютному расцвету его духовной личности через умерщвление плоти, через гибель личности эмпирической, так и познание природы сталинизма зовет познающего на беспощадную борьбу с ним, на самоотречение и самопожертвование, вплоть до полного самопреодоления. Страх, о котором здесь идет речь, уже не есть, таким образом, страх перед органами. Элементарный страх перед ними советский скептик и циник преодолевает уже в тот момент, когда изгоняет из своего внутреннего обихода стремление приспособиться к сталинским фикциям и цинично принимается употреблять их как орудие самозащиты и обличения. *Страх, заставляющий советского человека рядить свою веру и совесть в одежды релятивистического скептицизма, есть страх перед тем путем, на который ведут его вера и совесть.*

Логизирующий рассудок, этот постоянный адвокат человеческих слабостей, подбрасывает затем нашей трусости полсотни формально убедительных аргументов в пользу безнадежности борьбы, и в сознании даже самых последовательных антибольшевиков образуется последний спасительный для сталинцев миф о том, что борьба есть лишь путь к

бесполезной гибели тех лучших из лучших, которые на нее решаются.

Подлинная вера советского человека, лучшие силы его души, оказываются вытесненными в подсознание и лишь время от времени стихийно прорываются наружу в неожиданных порой для него самого поступках и в целом ряде его эмоциональных влечений, никак не связанных с только что описанными нами содержаниями его сознания. Горячая любовь к родине, чистота любовных отношений и стремление к здоровой семейственности, полноценная человеческая дружба, сознание долга и ответственности перед самим собой, перед своим народом, перед порученным делом — далеко не редкость в Советском Союзе. Эти, во многих советских людях высоко развитые качества никак не увязываются ни с лицемерным поклонением фикциям, ни с самообманной лояльностью по отношению к власти, ни с издевательскими словечками, которые пускаются по адресу и власти, и страны, и себя самого. Чувства и мысли этого порядка не приведены ни в какую систему и мировоззренчески ничем не оправданы в сознании большинства советских людей. Замечательно то, что это большинство и не ищет им никакого оправдания. Оно принимает их не как выводы из определенного мировоззрения, не как заповеди определенной веры, а как нечто изначально данное, как природное влечение. *Основой нравственного поведения советского человека является не моральный закон, а природная доброта души.* Приверженность к добру, изгоняемая даже из самого сознания советского человека, врывается в него непосредственно из глубин его существа и никогда еще за всю историю человечества не были так справедливы светоносные слова Тертуллиана о природном христианстве души, как именно в условиях сталинщины.

Подсознание советского человека принципиально и глубоко отличается от исследуемого современны-

ми психоаналитиками подсознания европейца XIX-XX вв. Основное содержание европейского подсознания, если верить этим психоаналитикам, составляют деструктивные силы души, низкие эвдемонические влечения и животные инстинкты, которые осознаются как постыдные. Стыд есть сила, оттесняющая их в область подсознательного. Перволицемерие европейца есть дань, которую он платит стыду.

Травмы, наносимые советскому человеку властью, тоже не могут пройти бесследно и заполняют его подсознание неудовлетворенностью, порой, вероятно, еще большей, чем у европейца. Не подлежит сомнению, что эвдемонические влечения не удовлетворяются, как не удовлетворяется и влечение к самоутверждению. В советской жизни можно на каждом шагу наблюдать, например, аррогантное подчеркивание своего положения и своей значимости, явно компенсирующее тайное сознание своего рабства. Комплекс неполноценности, с вытекающей из него неизбывной обиженностью, есть почти поголовное свойство жителей страны строящегося коммунизма. Подсознание советского человека осуждено нести в себе двойной груз. Многие влечения и чувства, которые европеец может отреагировать и изжить, несмотря даже на их постыдность, удерживаются, если не в подсознании, то в тайном ярусе души советского человека еще и страхом, в то время как другие влечения, являющиеся в свободном обществе источником творческой сублимации, просто парализуются, превращая советский народ в народ невротиков.

И положение было бы безнадежным, если бы на все эти содержания не лег другой, вероятно не менее мощный, пласт безусловно позитивных влечений, вытесненный в подсознание уже исключительно *страхом*, часто даже *вопреки стыду*.

В психической жизни советского человека, как мы уже отмечали, страх становится вытесняющим

фактором, порой более моцным, чем стыд. В подсознание вытесняются не только постыдные, позорящие их носителей мысли и чувства, но в еще большей степени чувства опасные. Страх есть доминирующий фактор советской жизни. Советский человек всегда преступник по мнению власти, и мнение это имеет свои основания. Отнюдь не постыдные, а нравственно полноценные влечения советского человека оказываются преступными и требуют беспощадного подавления: его религиозные, нравственные и эстетические понятия, его стремление к искренности, его тяга к собственности и хозяйственной самостоятельности, его потребность в любви, в дружбе, в элементарном доверии, его потребность в неущербленной семейной жизни. Вся эта важнейшая область мыслей, чувств и влечений деформируется страхом и, если не целиком, то в значительной степени вытесняется в область подсознания. Подсознание советского человека не целиком, конечно, но в какой-то существенной своей части, есть *благое подсознание.*

В своем сознании советский человек почти всегда видит свою неполноценность. Очень часто он расценивает (не себя лично, а советских людей вообще) гораздо ниже их действительного достоинства. В своей борьбе с властью он отчетливо видит свои поражения и умеет указать их причины, но обычно не способен осознать свои победы. А наиболее велики эти победы как раз «на внутреннем фронте», на фронте борьбы за человеческую душу. В тайном ярусе советской души, там, где начинает меркнуть свет самопознающего сознания, *в основе чувствований советского человека лежит выстраданное им знание о собственном человеческом достоинстве, знание о своей полноценности.*

В сознании это трансформируется как ложно обоснованная национальная гордость, как советский патриотизм, комплекс чувств, усиленно обыгрываемых партийной пропагандой. Советский человек во-

ображает, что он горд тем, что он совершил великую революцию, что он создал мощную промышленность, что он победил Гитлера. Несмотря на все усилия пропагандных органов, эти чувства не переносятся на партию именно потому, что они суть проявления трансформированной гордости своими победами как раз *над партией.* И чем громче партийные активисты кричат за русский народ, тем шире распространяется мнение, что все это совершено и создано не благодаря партийной диктатуре, а в значительной мере вопреки ей. Русский человек обижен сталинщиной. Он видит, что он ниц и бесправен, что плоды его труда и побед у него отняты, что прекраснейшие его чувства попраны. *Его революционные эмоции суть эмоции праведного гнева, а не зависти и обиды.*

Тайный ярус души советского человека — резервуар скрытых сил огромного напряжения. Развязать эти силы — значит нанести сталинизму смертельный удар. Но силы эти по существу своему не разрушительны, а созидательны. Эту особенность современной русской души необходимо учесть всякому стороннику свободы. Развязать эти силы — значит освободить тем самым величайшие творческие возможности, создать условия для раскрытия новой душевно-духовной структуры человеческой личности. Освобождение от ига активной несвободы есть освобождение не ветхого человека отживающей эры, а человека нового, человека, прошедшего через духовно трагическое испытание сталинщиной и выдержавшего это страшнейшее из испытаний.

## *Глава 4*

# НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

***Жажда комфорта и право на достойное существование. Любовь к родине и советский патриотизм. Идеалы и ценности советского человека. Советский характер.***

Понять нравственный облик советского человека возможно лишь в том случае, если отдать себе отчет, что он выкован в условиях активной несвободы, то есть в особом мире, совершенно непохожем на мир начала XX века в России или на мир современных демократических государств. В этом мире сохранить человеческую душу чрезвычайно трудная задача, которую советский человек разрешил.

В результате в советской России существует две нравственности: официальная и тайная. Официальная социалистическая нравственность содержит в себе установки власти, которые она считает обязательными для советского гражданина; на словах и чрезвычайно громко она признается всеми. Она является чистейшей фикцией и внутренне почти целиком отвергается всем населением советской державы. Однако эта фикция, как, впрочем, и всякая фикция, не проходит бесследно для отвергающего ее человеческого сознания, но давит на душу беспрерывно.

Впрочем, в одном естественном пункте официальная нравственность принимается населением, и в высшей степени интересно посмотреть, что же это за пункт? Рассуждения советского человека протекают по такой, приблизительно, схеме: «Конечно, все

что нам рассказывают, — это ложь и должно быть отвергнуто как вздор, весь этот социалистический гуманизм и Павлик Морозов. Но вот партийное агитаторы говорят: *нельзя жить только для себя, нужно служить чему-то другому*. Тут они правы. Конечно, не тому, чему они сами кланяются, а другому, но без служения нельзя».

Было бы величайшей ошибкой полагать, что идеей служения русский народ обязан большевикам. Просто тут ранний большевизм перекликается с исконной русской традицией. Эта потребность служения у лучших комсомольцев была в свое время очень сильно выражена. Они ошиблись в выборе ценности, и в этом их трагедия. Когда они рвали с коммунизмом, разрыв этот был у них радикален: отвергалось все. Но идея служения осталась.

«Надо служить идее» — это одна заповедь советской неофициальной нравственности. «Надо любить людей и относится к ним по-человечески» — другая заповедь. Заповеди эти могут не исполняться и в огромном большинстве случаев не исполняются. Но они признаются и признаются не на показ, а в силу непоколебимого внутреннего убеждения.

В связи с этим культ героев российской государственности — Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого — мало говорит уму и сердцу советского человека. Задуман был этот культ как могучее пропагандное средство. Важно было советскую власть представить как продолжательницу российской имперской традиции. Замысел дал осечку. Советский человек уважает этих героев, но сердцем он тянется к другому, и подражать он хотел бы не им.

Зато образы революционеров год от году становятся ближе и дороже советскому человеку. Декабристы, Герцен, Софья Перовская, Желябов перекликаются с заветными его чувствами. Образы этих людей, светлые для советского человека, зовут к борьбе против тирании. Советский человек подставляет на место царского самодержавия — коммуни-

стическую диктатуру, а на место героев и мучеников революции — себя.

С этой точки зрения совершенно неважно, имеет ли народ дело с подлинными образами революционных деятелей, или с их стилизацией. Образы эти приобрели огромную динамическую силу и мобилизованы на дело российского освобождения. Их слова и дела призывают к борьбе. Сталин затем и канонизировал Суворова, Кутузова, Нахимова, чтобы идее социальной правды и человечности противопоставить идею великой империи. Советский человек не особенно пленился этой идеей. Но идее социальной правды он остался верен и по-новому свежо и сильно осознал ее как идею подлинной человечности. И, конечно, образы русских революционеров, которым готов отдать свое сердце советский человек, далеки от соответствия оригиналам, а функциональная их нагрузка создана потребностями эпохи. Но факт возрождения революционных симпатий остается несомненным и значение его трудно преувеличить.

Очень характерно для советского человека *презрение к внешней нравственности*, то есть к тому, что общепризнано, к нормам, принципам, правилам поведения. Советский человек действует так, как будто ему первому в мире приходится решать нравственные вопросы за собственный страх и риск и от случая к случаю. Черта эта имеет свое положительное значение, а также и несомненные опасности. Но надо думать, что она преходящая.

Видеть в этом проявлении, лишенном всяких формальных определений нравственности, выражение особенностей русской души нет никаких оснований. Причины этого явления просты и ясны.

*Проявление подлинной нравственности в Советском Союзе* есть нарушение норм, ибо советское государство противно нравственности. И это нарушение норм совершается непрерывно в огромных размерах. Закрыть во время глаза, сделать незаконную поблажку, пустить в ход «липу», опоздать или поспешить, предупредить, забыть, замолвить слово,

дать адресок, применить одну из миллионов форм блата, просто рискнуть, и подчас многим, чтобы спасти другого от несчастья, — таковы бесчисленные проявления дружбы, человеколюбия, просто человеческого участия. Без этих проявлений жизнь в СССР стала бы невозможна.

Конечно, проявлений эгоизма, подсиживания, даже предательства (впрочем, чаще вполне вынужденного) в СССР сколько угодно. Это очень понятно: это соответствует дурным инстинктам человека и это всячески поощряется властью. Но вот добрые проявления человеческого сердца никем не поощряются и не могут принести советскому гражданину никаких выгод, зато влекут за собой самые тягостные последствия. И тем не менее эти проявления совершаются беспрерывно. Вспомним, что мы говорили о непрерывном преодолении страха в советской стране.

Нигде нравственные акты не свободны более, чем в современной России; нигде их природа не является более чистой, т. е. более свободной от влияния посторонних мотивов: корысти, лицемерия, одобрения или неодобрения общественного мнения и т. п.

Эта беспримесность нравственных мотивов советского человека кладет на его нравственный облик особый отпечаток. Он, собственно, следует не принципам. Ибо принцип расцветает в атмосфере права, а не бесправия. В концлагерной жизни (ибо вся Россия не что иное, как концлагерь) действует не принцип, а сердечный порыв. Поэтому для советского человека *совесть — единственный источник его морали.* Советское право советский человек презирает, ибо ясно видит его безнравственную природу. Не слишком высоко ставит он и нормы внешней нравственности: что прикажете делать с заповедью «не укради», если не воровать (у государства) значит погибнуть? Но зато, когда заговорит сердце, тогда нормой от голоса совести не отделаешься. Ибо норма — одно, а чрезвычайный случай — другое, а

под солнцем сталинской конституции жизнь состоит из чрезвычайных случаев, и чтобы помочь человеку по-настоящему, нужно и себя подвергнуть немалому риску и не одну норму нарушить. В лабиринте запутаннейших отношений в Советском Союзе норма не светит, а чадит. И человек в каждом отдельном случае обращается к собственной совести.

Советский человек не боится греха и совершает его чрезвычайно легко. Это совершенно естественно: в условиях активной несвободы слишком усердное воздержание от греха неизбежно и быстро приводит к физической гибели. Но греху советский человек не служит. Злое он творит без наслаждения грехом. Он просто не чувствует своей вины, вернее слишком легко оправдывает ее тем, что поведение его вынужденное. Оно и в самом деле в огромном большинстве случаев определяется необходимостью спасения живота. Советскому человеку приходится выбирать не между грехом и воздержанием от него, но между грехом и гибелью или, по крайней мере, весьма ощутимым приближением к ней.

Зато добро советский человек творит без мысли о заслуге, просто по влечению сердца. И он часто творит его. Советская жизнь дает ему для этого огромное количество поводов, которые отсутствуют в налаженной и комфортабельной жизни Запада. Зато она и грозит ему бедами и несчастиями за каждое доброе дело. И он пренебрегает этими угрозами с такой легкостью, которая едва понятна для западного человека.

При этом советский человек не просто творит доброе дело, он творит его с большим мастерством. Он проявляет изумительную чуткость к чужой потребности и всегда индивидуализирует свое доброе дело. Он не облегчает себе задачи, не отмахивается от нее наиболее для себя легким жестом благожелательности, он любит разрешить трудную задачу, он равняется по чужой беде, а не по своему удобству.

Для него доброе дело отнюдь не предмет морального комфорта, оно существует не для него, а для того, кто в нем нуждается.

Рассказывают, что зимой 1945-46 года советские солдаты снабжали немецкие семьи, с которыми они были в приятельских отношениях, дровами и углем. На своих горбах таскали они топливо, сразу определив, в чем больше всего нуждаются страдающие от холода немцы.

Нравственный мир советского человека примитивен. (Мы говорим о большинстве; люди большой моральной одаренности и чуткости встречаются в Советском Союзе ничуть не реже, чем в других странах, но ведь большинства они нигде не составляют.) Иногда кажется, что у советского человека вообще нет никакого морального кодекса, а руководствуется он в своем поведении вдохновением: сегодня так, а завтра совсем иначе. Но он не нигилист. Природу нравственности он ощущает свежо и сильно.

Любопытно, что советский человек лишен психологии завоевателя. Стоит только сравнить победителя француза или немца с русским, чтобы в глаза бросилась огромная разница. Те горды победой, смотрят на занятие страны, как на добычу, благодарны своей власти за военную славу и возможность поживиться за чужой счет.

Эти чувства советская власть хотела вызвать и у своих солдат, но без всякого успеха. Конечно, советский солдат далеко не образец гражданской добродетели и отнюдь не прочь поживиться трофеями. Он же и отоцал свыше меры на сталинских харчах и родные у него в колхозе не сыты. Но даже набезобразничав, он же потом ворчит на начальство: «Бот безобразие какое: дисциплины мало. А начальство, чем бы смотреть, само теми же делами занимается. Непорядок...» Сам, может, грабил и насиловал, а потом жаль: «Как на нас смотреть будут? Начальство у нас не туда глядит».

Присоединение Прибалтики русского солдата не обрадовало, империалистических чувств не пробудило. Доминирующие чувства — жалость и сочувствие к местному населению. И глубокий реализм: «Эх, и жили они без нас, да вот мы протянули им руку помощи...» Уничтожающая ирония по отношению к большевистской фикции соединяется с полной свободой от шовинизма: его нет и следа. Но и виновным себя перед балтийцами солдат не чувствует и совесть его спокойна: «наше дело маленькое, а нас разве спрашивают, кабы наша воля...» Относительно будущего страны он не строит себе никаких иллюзий: «узнают они нашу светлую жизнь» — говорит он без тени злорадства. И ему по-настоящему грустно при мысли, что сталинщина уже не ограничивается пределами России. В эстонцах и латышах он видит товарищей по несчастью и немедленно включает их в число соотечественников. Такая аннексия, конечно, ничего общего с империалистической идеологией не имеет.

Советский Союз — страна, где ежедневно и ежечасно совершаются в молчании героические дела. Совершаются не помпезными героями, а рядовыми людьми. Обойти эти дела, говоря о нравственном облике советского человека, невозможно.

Вот типичная драма советской семьи: муж едет «на Курильские острова». За катастрофой иногда следует развод, продиктованный часто требованиями самосохранения. Иногда дело не ограничивается разводом: в газетах появляются письма, в которых жена отрекается от мужа, дети — от отца. Кто знает советские условия, тот не посмеет бросить камень в жену и детей.

Но вот другие примеры: ни жена, ни дети не отрекаются, хотя это грозит им самыми тяжелыми последствиями. И жена, бросив комнату в столице (комната в столице — мечта миллионов!), едет в глушь ссылки и там в ближайшей к концлагерю деревеньке хоронит себя на многие годы. Статистики фактов женского самоотвержения нет в Советском Союзе, но кое-что о них все же известно. Или жена, связанная детьми, остается дома, воспитывает детей и шлет посылки мужу; чего это ей стоит,

знает только она. Такой брак стоит тысяч буржуазных благополучных браков, и их в России немало.

Вообще запечатлеть дружбу и любовь героическим поступком или многолетним героическим поведением поводов в СССР совершенно достаточно. Многие от этих поводов, конечно, бегут, но поразительно велико число людей, которые даже не думают о бегстве. Бытового героизма во всех слоях населения современной России реченька бездонная...

Служение ценности для советского человека понятие совершенно бесспорное. Но как обстоит дело с выбором этих ценностей?

Тут беспрерывно совершаются огромные ошибки. Не будем говорить о героизме чапаевых, повторенном красными партизанами периода немецкой оккупации или о героизме лучшей части комсомола, проявленном во время первой пятилетки. Эта последняя ошибка, едва ли когда-нибудь повторится.

В этике у советского человека *нет* осознанного *руководящего принципа.* Он творит от случая к случаю, повинуясь довольно прихотливым требованиям своей совести. Совесть — муза его нравственного поведения, и если она помогает ему подчас создавать шедевры, то нередко оставляет его на положении беспризорного. Это отнюдь не связано с вечными свойствами русской души. Ведь в нравственном отношении современный русский человек предоставлен самому себе; единственное воспитание, которое он получает, — за редчайшим исключением, — воспитание сталинское, то есть безнравственное; быта в России нет, он разрушен до основания, быть нравственным в СССР значит в глазах власти быть преступником. И то, что советский народ не превратился и, по-видимому, не превратится в народ моральных уродов — одно из величайших чудес нашего времени.

С эстетикой дело обстоит совсем плохо. Одолевает безвкусица. Это даже не совсем понятно: русская история показывает наличие у русского наро-

да иногда очень большого вкуса. И теперь еще не умерли в СССР традиции великого искусства. Но советского человека тянет к Есенину, в нем много дешевой сентиментальности. Однако это в области художественного восприятия, а отнюдь не в жизни.

Под сознательным хамством и внешней грубостью в глубине советской души живет лирическая нежность, правда, выражаемая нередко в сентиментальных и пошлых формах. Едва ли есть еще одна страна в мире, в которой так любили бы поэзию. Не только молодежь, но и взрослые, вполне умудренные опытом советской жизни, если не пишут, то очень охотно читают и переписывают стихи, часто плохие, но это — другой вопрос. Потребность советского человека в лирике, несомненно, свидетельствует о его интравертированности. Впрочем, воздержимся от каких-либо выводов по этому поводу. Лирика же военных лет это явление, едва понятное в своей неожиданной нежности.

Едва ли какой нибудь другой народ способен создать подобную военную лирику. Во всяком случае ни у одного из них ничего подобного нет. Не бранная слава, не подвиги, не ненависть к врагу, не опьянение битвой составляют содержание русской военной лирики. И, конечно, упоминание о Сталине прозвучало бы в этих стихах, как кощунство. Но «и в холодной землянке тепло» (эту «Землянку» с восторгом пела вся Россия) не от забот партии и великого Сталина, а лишь от мысли о глазах далекой возлюбленной. Боец хочет верить, что он не погибнет, а спасет его сила любви, с которой ждет его любимая девушка.

И разве не удивительно, что именно один из сталинских активистов — Константин Симонов — автор нежнейших стихов о мистической силе женской любви? Его сознательность побудила его написать «Русский вопрос». Его подсознание (в разрешенный, о,

конечно, только в разрешенный момент!) подарило ему, вероятно неожиданно для него самого, решительное утверждение сверхприродной силы любви: «ожиданием своим ты спасла меня»... Ведь не мудростью сталинского руководства, не превосходством Советской армии над фашистскими захватчиками, не совершенством советского строя, а только *ожиданием*, тем ожиданием любящего человеческого сердца, которое есть непрестанная безмолвная *молитва* о спасении любимого...

Очень интересен и сложен тот психологический комплекс советского человека, в который входит его *любовь к комфорту*. Комфорта он не знает, но тянется к нему чрезвычайно. Сама эта тяга представляет собой загадку. Предметы комфорта имеют над его душой неодолимую власть. Самое представление о комфорте у советского человека своеобразно. Часы, патефон, велосипед — это в его глазах предметы комфорта. Чтобы приобрести их, он способен на настоящие жертвы. Велосипед — предмет гордости владельца и зависти знакомых — будет висеть в его комнате на стене (больше поместить его негде) и владелец будет им только редко, по выходным дням, пользоваться. Очарование этого до последней степени условного комфорта заключается в его резком контрасте с привычной нищетой. Во время войны с Финляндией впечатление, произведенное линией Маннергейма, было ничтожным по сравнению с впечатлением от финского комфорта. Часы! Пылесосы! Электрические печи! Шерстяное белье! Обувь! А какой краской покрыты двери! «Я нарочно соскоблил немного и привез». Не было конца перечислению предметов, поразивших воображение именно своим назначением служить удобству человека. «Как удобно и как просто. Живут же люди!» Знакомство с миром неслыханного комфорта затронуло особенно болезненную струну в душе советского человека, нанесло ему новую жестокую травму. Замечательно, что интересовали его преимуществен-

но предметы массового комфорта («Очень просто и у нас могли бы производить!»), все исключительное в этой области нисколько его не интересовало.

Эта тяга к комфорту, кажется нам, объясняется не только беспросветной нуждой, которой так много в Советском Союзе. Она есть своеобразно *трансформированное утверждение человеческого достоинства*. Она есть священное убеждение в том, что человек не имеет права жить нищим, потому что он царь природы, и весь мир ему на потребу. Предметы комфорта в его глазах — символы зажиточной, достойной человека жизни. Он остро переживает унизительность нищеты и, протягивая руку к комфорту, видит в нем не столько материальное удобство, сколько *спасение от унижения*.

Что тяга к комфорту не есть элементарная жажда обогащения, подтверждается еще и тем, что комфорт воспринимается не как личная, а как национальная проблема. Личные потребности немедленно связываются с общими. — «Наладить бы массовое производство... для народа необходимо. И стоило бы пустяки...» Только в порядке массового производства и дешевого сбыта и можно разрешить проблему комфорта, а не посредством рвачества и всеобщей свалки. Это советский человек (по крайней мере теоретически) превосходно понимает.

О том же говорит и то обстоятельство, что с жаждой комфорта у советского человека сочетается удивительная свобода от власти вещей. Он легко отрешается от своего достояния; было бы только ради чего. Он презирает, не безусловно, но с определенной точки зрения, и эти самые вещи: «барахло». Обозначить как барахло он может и золото и бриллианты: «погиб человек из-за барахла», с оттенком неодобрения к погибшему. Еще больше он презирает людей, рабствующих вещам, находящихся у вещей в безусловном подчинении: «барахольщики». Слово это — одно из самых презрительных в современном русском языке.

Обобщая отношение советского человека к комфорту, кажется, можно сказать, что он признает комфорт за очень большую ценность, может быть за бóльшую, чем следовало бы, бессознательно чуя в комфорте средство утверждения достоинства человека. Проблема комфорта, с его точки зрения, может быть разрешена только в национальном масштабе и обязательно должна быть разрешена. Но эта ценность, однако, отнюдь не величайшая и при столкновении с ценностью более высокого порядка, должна быть принесена в жертву ей без малейшего колебания.

Другой не менее сложный и не менее характерный нравственный комплекс советского человека — это его *любовь к родине*.

Анализ этого чувства чрезвычайно осложняется тем, что оно в значительной степени входит в сферу показной сознательности, что оно эксплуатируется сталинской властью, а потому стимулируется ею. Оно является составным элементом не только реального, но и фиктивного советского человека. Иными словами, каждый советский гражданин *обязан* быть патриотом и обязан демонстрировать свою привязанность ко *всему* комплексу идей, составляющих понятие «советской родины», начиная от уважения к Александру Невскому и Суворову и кончая горячей любовью к партии, правительству и лично великому Сталину. В патриотизме советского человека элементы фикций сплетены с элементами совершенно реальной любви к совершенно реальной родине и отделить одно от другого отнюдь не легко, тем более, что нередко весьма громогласно выражая свои патриотические чувства, он и сам толком не знает, где кончается его искренность и начинается ложь перед властью и, главное, перед самим собой.

Для активиста исповедуемый им советский патриотизм есть, прежде всего, средство самообмана и самооправдания; для сознательного же врага со-

ветской власти его любовь к родине зачастую должна расцениваться как патриотизм российский, вполне антисоветский по содержанию.

Средний советский человек находится между этими двумя полюсами. Патриотизм его, в своей основе просто российский, обременен большим или меньшим количеством «советских» элементов. Отношение отдельных людей к отдельным идеям, объединенным в комплексе «советской родины» вполне индивидуально и имеет бесконечное количество вариаций.

Используя «советские» элементы комплекса — любовь к советским песенкам, советскому спорту, отдельным героям Советского Союза (получившим свои отличия не за стахановские рекорды, а за подвиги в Отечественной войне), к московскому метро или Художественному театру (с прицепкой имени Горького), — партия весьма успешно обыгрывает любовь советского человека к своей родине и народу, облекая ее в ризы советского патриотизма и приклеивая к ней вполне фиктивную любовь к делу Ленина-Сталина, строительству коммунизма и даже к органам государственной безопасности.

Большую роль здесь играет лелеемая в комплексе советского патриотизма гордость различными достижениями, в которой советскому человеку предлагается компенсация его рабского и униженного положения. Власть предлагает ему гордиться тем, что это якобы он совершил великую революцию, он построил мощную промышленность, он освоил Сибирь и север, он создал сильнейшую в мире армию, он добился победы над Германией... Советский человек прекрасно знает, что великая революция принесла ему рабство, что мощная промышленность не в состоянии снабдить его лишней парой штанов, что освоение необжитых районов стоило миллионов жизней, что сильнейшая в мире армия лишь орудие порабощения, что победа в Отечественной войне

«лезет ему, как говорится, боком». Достижения советской власти стоили ему, однако, таких трудов и жертв, что он не допускает даже мысли о том, что они вообще никому не нужны. Отречься от них значило бы для него окончательно обессмыслить и свое собственное существование. И он гордится якобы «своими» достижениями, оправдывая хотя в какой-то мере перед самим собой свое участие в них.

И в тоталитарном государстве он продолжает чувствовать себя сыном великого народа, призванного совершить великие дела. И даже признавая, что какой нибудь Беломорско-Балтийский канал в сущности совершенно бесполезное сооружение, он все же гордится тем, что русские люди сумели прокопать его, пусть даже в качестве зэков, и пусть даже ценой тысяч и тысяч жизней.

Вероятно, каждый москвич отлично знает, как строилось московское метро и более или менее ясно понимает, что эта роскошь России не по карману. И все-таки он гордится тем, что под его городом проложена эта подземная дорога. Он с удовольствием прохаживается по ее роскошным станциям и гонит от себя мысль, что для того, чтобы не опоздать на работу, ему было бы достаточно простой железобетонной коробки, а средства истраченные на порфир и мрамор могли бы пойти на жилищное строительство и избавить от необходимости ютиться с женой и тещей в одной комнате.

Советский человек знает, что вместо Норильского медно-никелевого комбината можно было бы построить добрый десяток текстильных фабрик... и гордится тем, что только Советский Союз имеет мощные металлургические предприятия за полярным кругом. Материально никакой никель не в состоянии компенсировать пары штанов, но психологически такая компенсация вполне возможна. *Гордость советскими достижениями и есть эта компенсация.*

В период немецкой оккупации легко было наблюдать, как миллионы советских людей, ненавидящих большевизм и в своей среде открыто его осуждающих, защищали советские достижения перед лицом не только иностранцев, но и старых русских эмигрантов. Защищали не потому, что они совершены под мудрым водительством партии, правительства и лично товарища Сталина, но потому, что они совершены силами русского народа и должны, следовательно, свидетельствовать, что это великий народ.

*Советский патриотизм в своей основе не что иное, как российский патриотизм, изуродованный элементами компенсации собственного рабства у советской системы.* Самый факт патриотизма свидетельствует поэтому не только о том, что в современной России жива и сильна природная любовь человека к родине. Он свидетельствует еще, что этот человек чувствует себя глубоко оскорбленным и униженным активной несвободой, что он с этим *не примирился* и не примирится никогда. И если он вынужден идти по пути ложной компенсации, то самый этот путь говорит, что *ему есть что компенсировать*, что он тянется к предложенному ему суррогату только потому, что полноценный патриотизм остается для него недостижимой мечтой.

Фикция цветущей советской родины и животворного советского патриотизма при таких условиях перестает быть голой фикцией. Она превращается в *идеал*, к которому тянется измученная душа советского народа. О, он прекрасно знает, этот несчастнейший в мире народ, что Советский Союз вовсе не прекрасная, вовсе не свободная, вовсе не богатая и вовсе не счастливая страна! Но когда он поет «Широка страна моя родная» — он горячо желает, чтобы человек дышал в ней действительно вольно. Утверждаемая лишь в качестве подлой и пошлой фикции свобода преображается в его душе в свободу чаемую, в тот самый идеал свободы, ради

которого стоит жить и благодаря которому дышать становится и в самом деле хоть немножко вольнее.

Политически советский патриотизм до сих пор оказывал сталинизму ценные услуги. *Но нравственно он означает как раз конец сталинщины.* Любовь к родине и желание видеть ее свободной, богатой и счастливой есть величайшая святыня в сердце советского человека. Именно в его патриотизме таятся его идеалы и его подлинное знание о подлинной свободе, подлинном счастье и своем нравственном долге по отношению к ним.

Два основных стремления определяют собой, таким образом, духовный характер советского человека: *воля к достойной жизни* (выражающаяся обычно в виде жажды комфорта) и *желание служить родине* (принимающее часто уродливый облик советского патриотизма). Именно эти стремления диктуют ему его идеалы и определяют его иерархию ценностей.

Действительного воплощения эти идеалы в условиях сталинского властвования не имеют и иметь не могут. Сталинизм стремится, однако, их эксплуатировать и делает это в форме целесообразных фикций. Советский человек отлично знает, что счастливая и зажиточная жизнь — это фикция. Но фикция эта выражает его идеал. Он хотел бы, чтобы жизнь действительно стала и зажиточной и счастливой. Так же хорошо знает он цену гарантий солнечной Сталинской конституции. Но и эта фикция есть для него мечта и задание: он горячо желает пользоваться действительной свободой.

*Мир мифов и фикций в известной своей части есть мир идеалов и ценностей советского человека.* Он не может быть реализован в системе сталинского властвования. Он — мир мечты, непереходимой пропастью отделенный от жизненной действительности. Но тянется человек к своей мечте. И, распевая бравурный мотивчик о дружбе трех танкистов,

«экипажа машины боевой», даже сексот, только что написавший донос об антисоветском выпаде своего «друга», мысленно тянется к дружбе, вовсе не сталинской и вовсе не социалистической. А в пошловатой песенке «Катюша» советский человек воспевает не охрану сталинских границ, а святыню женской любви и верности... И охотно поет советский человек советские песенки, выбирая из них элементы собственной мечты и наслаждаясь именно этими элементами.

Изложенное выше дает возможность сделать грубый набросок его эмпирического характера.

Специфические условия существования помогают возникновению и закреплению некоторых черт, свойственных всем советским людям, независимо от того, к какому слою советского общества они принадлежат. Эти черты, прежде всего:

1) Разрыв между внешним поведением и внутренними переживаниями. Между первым и вторым нет соответствия. Первое часто бывает нарочито подчеркнутым. Вторые — тщательно скрываются. В искусстве скрывать свои подлинные чувства советские люди достигают настоящей виртуозности.

2) Разрыв между обществом и личностью. Интимная жизнь в Советском Союзе стремится оторваться от общественной. Внешне советский человек самый экстравертированный в мире, внутренне — самый интравертированный.

3) Советский человек живет под вечным страхом, страхом, который часто достигает предельной силы и который совершенно обоснован. Страх этот глубоко деформирует личность. Советский человек — это человек, деформированный страхом. Но одной деформацией личности дело не ограничивается. В самых недостанных глубинах ее рождается протест против активной несвободы сталинского строя, и зреют силы, непредвиденные сталинской системой воздействия на психику. *Истерзанный страхом советский человек непрерывно этот страх преодолевает.*

4) Психология советского человека это *психология зависимости и унижения*. Крайняя степень зависимости есть результат всемогущества государства, которое относится к гражданину как к средству для достижения своих целей. Государство — монопольный собственник на все средства производства и оно же — монопольный работодатель. Гражданину не предоставлено никаких прав. В числе других сотен тысяч или миллионов он может быть в плановом порядке уморен голодной смертью. Его бесправие — абсолютно; никакой защиты у него нет, и он очень хорошо понимает это.

Унижение его — безгранично. За малейшее проявление заботы о своих естественнейших и неотложнейших нуждах или нуждах семьи его осыпают оскорбительными наименованиями: рвач, лодырь, летун, прогульщик, бракодел, чуждый элемент и пр. За малейший неверный шаг в области идеологии он оказывается низкопоклонником перед иностранщиной, гнилым буржуазным объективистом, пределыциком, безродным космополитом, двурушником, а то и врагом народа. Его бьют смертным боем на допросах в МГБ, от него требуют оговоров себя и множества своих знакомых, его осыпают неслыханными оскорблениями. От него требуют лицемерного выражения преданности режиму и вождю и шумных восторгов перед теми порядками, от которых он страдает. Государство грубо вмешивается в его интимную жизнь. Он чувствует себя червем, который ежеминутно и без всякого повода может быть растоптан железной пятой власти.

5) Его психология есть в то же время *психология нищеты*. Быть вечно полураздетым, полуобутым, полуголодным, видеть полураздетой, полуобутой, полуголодной свою семью, вечно — дома, на службе, в очереди — думать о том, как бы извернуться, где бы достать лишний кусок. Знать, что без блата не обойтись, что блат — единственное спасение, и что блат несет риск нового страшного унижения. Быть больным и встретить грубый отказ в медицинской помощи и угрозу привлечь к ответственности за симуляцию. Все это — ежедневная трагедия миллионов людей.

6) Советский человек не потерял чувства собственного достоинства. Но оно жестоко оскорблено в нем и потому извращено. Оно поэтому проявляется иногда в неожиданных и странных формах. Иногда, например, оно выражается в отчаянных усилиях выполнить и перевыполнить заведомо невыполнимый план, — «чтобы доказать власти...»; что доказать? бедняга и сам толком не знает. «Пусть видят каков я есть человек!» И ломает себе хребет, чтобы «доказать».

С этим чувством оскорбленного достоинства связана у советского человека *психология обиды*. Речь идет не о конкретной обиде: незаконно оштрафовали, не дали путевки в дом отдыха, снизили расценки... Нет, это та вечная, ядовитая обида, в основе которой лежит правильное или неправильное ощущение своей неполноценности. В этой обиде патология советской действительности, и этой патологии много, очень много в Советском Союзе.

С обидой этого типа связано сосредоточение внимания на самом себе, болезненный эгоцентризм. Эгоцентризм этот естественно влечет за собой неприязнь ко всему человеческому роду. Он должен был бы оказаться крайне губительным для альтруистических чувств.

7) Удивительным образом эгоцентризм этот оказывается поверхностным. Под ним (и это еще раз подтверждает нашу мысль о «благом подсознании») скрывается неугасимый *инстинкт человеколюбия*, щедрости, гостеприимства. Как выразилась одна умирающая от голода женщина, делясь тарелкой болтушки: «инстинкт гостеприимства должен умереть последним». По многократным свидетельствам немецких военнопленных, русский народ добр и человеколюбив. Немцам помогали охотно и много, уделяя помощь из своего голодного пайка и не помня страшного зла. Некоторые из них вернулись из советского плена преображенными. Это — мало кем замеченная, но тем не менее величайшая моральная победа, одержанная русским человеколюбием.

8) Что в советском человеке много подозрительности, цинизма и неверия в «высокое и прекрасное», это как нельзя более естественно. Поразительно

другое. Под этой оболочкой неверия тлеет огонек веры. *Жажда веры* у него огромнейшая. Есть на свете где-то справедливость и должна она, в конце концов, восторжествовать. Но это только одна половина веры. А другая: я в сторонке стоять не должен, а за эту справедливость должен пострадать, а может быть и умереть. И это не патологическая воля к бесцельному страданию, а воля к светлой, оправданной жертвенности. Эту волю можно было наблюдать, например, у многих рядовых власовцев.

9) Крайняя замкнутость советского человека, его уменье скрывать свои чувства опять-таки совершенно понятны. Но какая страстная жажда общения в нем живет! Он истосковался по доверию, дружбе, любви. И, может быть, именно потому существует в Советском Союзе *культ дружбы* и, кажется, только в нем. Особенно священна дружба в армии: «мы с ним от Сталинграда до Берлина вместе прошли, последний кусок делили; он меня два раза от смерти спас». И верит другу, как себе. В царстве МГБ такие факты дружбы — явление национального значения.

В современной России есть браки крепчайшие. Поженились, открыли друг другу души, и каждый почувствовал, что он не одинок в страшном сталинском государстве: их двое. Никто этих браков, скрепленных страстным доверием, не считал, но что есть такие, и их не мало, свидетельствуют все наблюдательные люди.

10) Кругозор советского человека крайне узок. Но это не узость предрассудка или косности мысли, или патриархального мирка. Узость эта создана активной несвободой. Отчасти она осознается советским человеком и при благоприятных условиях он, вероятно, способен ее преодолеть. Рядом с этой узостью живет в нем и чрезвычайная острота интуиции. Многое он ловит на лету, многое понимает с полуслова. Прекрасным доказательством тому является опыт минувшей войны. Краешком глаза увидел советский солдат западный мир и составил себе представление о нем, о его положительных сторонах и его слабостях. Он понял, как выразился

в аналогичном случае Герцен, «оскорбительно много». И это понимание еще сослужит ему службу.

Советский человек исполнен величайшего *практицизма*. Он чрезвычайно высоко ценит практические знания и умения. Его в особенности интересуют прикладные науки (влияние стратегического строя его мышления). Но в то же время он не лишен и жажды широкого и обобщающего знания. Может быть, это бессознательный протест против фальсификации науки, но вернее — это природное свойство русских.

Характер советского человека соткан, таким образом, из внешне противоречивых черт: практицизм и жажда знаний, психология обиды и человеколюбие, неверие и жажда веры, узость кругозора и острота интуиции, любовь к комфорту и презрение к материальным благам. Это отнюдь не вечные, неустранимые противоречия, вытекающие из якобы исконных полярностей русской народной души; эти противоречия — болезненная реакция советского человека на практику активной несвободы.

Страх, о котором говорилось выше, калечит душу советского человека, но он не заполняет ее целиком. Он — лишь одна сторона противоречия, а другая — жажда риска. Советского человека больше всего угнетает безнадежность его положения. Он способен к борьбе. Он эту борьбу ведет и вел все страшные годы советской власти. Стоит ему показаться, что борьба не безнадежна, как жажда риска просыпается и овладевает им. Прослойка героических людей есть, надо полагать, в каждой нации. Среди советского народа она, по-видимому, больше, чем у других народов.

## *Глава 5*

# ВОЗМОЖНО ЛИ ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ?

*Духовные и душевные опасности. Государство и граждане. Свобода и служение. Благо народа и нравственный долг.*

Уже у Маркса отчетливо намечается общественный идеал, который вполне совпадает с эзотерическим понятием коммунистического общества у Сталина. Уже Маркс говорил о свободе, в которую необходимо было прыгнуть, но он же говорил и о царстве вполне родовых существ. Вопиющего противоречия между своими высказываниями Маркс не замечал. Маркс наметил два пути: идти по обоим было совершенно невозможно. Сталин нашел третий путь — путь активной несвободы.

Замысел сталинизма заключается в построении общества, утратившего самый инстинкт свободы, т. е. активно несвободного. Члены этого общества должны объективное рабство воспринимать как свободу, иначе говоря, они должны быть настоящими роботами.

Замысел этот неосуществим. Свобода не есть осознанная необходимость, свобода не есть иллюзия, потребность в свободе неистребима в человеческой душе, инстинкт свободы неискореним. Представление большевиков о свойствах человеческой природы оказалось ложным и при столкновении с жизнью было развеяно в прах.

Ни перед чем не останавливающейся волей сталинизму удалось создать лишь фикции свободного общества и фикции свободных существ, счастли-

вых и гордых своей свободой, получивших ее как дар из рук великого Сталина и бесконечно ему за то благодарных. Так осуществляется абсолютное, но фиктивное властвование, так осуществляется тайный замысел сталинизма.

Не подлежит сомнению, что советский народ жестоко травмирован фикционализмом и страхом.

Страх этот доходит до прямой боязни свободы. В отказе от внутренних претензий на свободу люди хотят видеть какую-то гарантию от преследований власти. Гарантия эта, конечно, оказывается мнимой.

Боятся подвластные властвующих и властвующие подвластных. Страх модифицируется как а) боязнь свободы и ответственности, б) мания преследования, принимающая зачастую клинические формы, в) целая система приспособительных условных рефлексов, г) потеря сознания границ между правдой и ложью, д) замена этих категорий категорией целесообразности (стратегическое мышление).

Сталинизм показал, что насилие над человеческой личностью может идти очень далеко. Беспрерывным насилием можно добиться от человека даже внутреннего отречения от свободы. В атмосфере активной несвободы можно добиться страха перед свободой, страха перед собственным мнением, страха перед собственной совестью. Советские люди представляют многочисленные примеры этого страха, и это совершенно естественно и неизбежно в их положении. Удивительно не это, удивительно то, что в Советском Союзе есть множество людей, которые только внешне покорны и совершенно не знают страха перед свободой. Наоборот, они ей верны и умеют сохранить верность до конца своих дней. Но и те, которые навсегда придавлены страхом перед свободой, и те отнюдь не автоматы. Они боятся свободы, но они знают о ней, и они, несмотря на всю изуродованность их жизни, неизмеримо ближе к свободному человеку, чем к автомату.

Русскому народу выпало на долю продемонстрировать перед всем миром во славу Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина общество вполне родовых существ. Он *отказался это сделать*. Мало того, он убедительно показал, что для этой роли у него нет решительно никаких данных. Тогда первоначальный наивный замысел марксизма был заменен другим: русский народ должен был явить миру торжество сталинского фикционализма. И для этой роли он оказался мало пригоден. И только для внешнего зрителя, неспособного к сочувственному восприятию чуждого душевного мира и желающего быть обманутым, фикции сталинской власти сходят порой за реальности.

Коммунистическая идея в России мертва. Царством вполне родовых существ Россия сыта по горло. И фиктивным воплощением этого царства, морально-политическим единством советского народа, с энтузиазмом выполняющего мудрые указания великого Сталина — тоже сыта.

Но в государственно-правовых представлениях советского человека культ сталинской государственности оставил глубокий след. При всей своей внутренней жажде свободы, советский человек, — не как исключение, а как правило, — убежден в том, что все проблемы могут и должны решаться властным приказом сверху, что за все отвечает руководство, что только руководство может и обязано обеспечить условия и заставить гражданина делать то, что нужно.

Психология подопечности, требование постоянной *опеки* со стороны *государства*, в отдельных и худших случаях демагогически прикрывающее стремление к паразитизму, будет еще долго тяжелым духовным наследием сталинщины, грозящим снова сосредоточить власть в одних руках, ради якобы поставления народа на путь служения его же благу, тем более, что оно опасным образом связывается с исконной русской идеей служения.

Русский человек и до революции и теперь считает недопустимым жить только для себя; по его убеждению жить нужно для чего-то другого. Ничто на Западе его так не отталкивает, как священный эгоизм, само собой разумеющийся для европейца. Что такое свобода по западному представлению? Это игра эгоизмов, которая приводит ко всеобщему удовлетворению — по оптимистической концепции и к господству сильных эгоизмов над слабыми — по пессимистической. Что такое коллективизм? Это союз слабых эгоизмов против сильных. Русскому человеку равно чужды и европейский индивидуализм, и европейский коллективизм.

Основное настроение русского человека иное: не интерес, а ценность, не беспредметная свобода, то есть служение своему эмпирическому «я» как высшей ценности, а свобода служения и ответственности. Но тут-то и подстерегает советского человека опасность. Если бы он был способен до конца осознать свое верное чувство, он стоял бы на совершенно верном пути. Но он этого сделать пока не может: мешают влияния коммунизма. Русский человек лучше понимал себя до революции. Тогда он полагал, что нужно жить «по-божески» и был совершенно прав. Теперь он этого не скажет, потому что его отношения с Богом темны и запутанны до последней степени. И на вопрос, что же это за высшая ценность, коей по его убеждению надлежит служить, он ответит, почти не колеблясь: благо народа.

Не будем к нему придираться и с поспешностью уличать его в коллективном эвдемонизме: может быть, если хорошенько покопаться в его душе, мы найдем в ней готовность благо народа поставить на службу более высокой ценности, вернее не понимать его как элементарное эмпирическое благо. Но, может быть, и не найдем. Во всяком случае, если он даже стоит на позициях коллективного эвдемонизма, то его коллективный эвдемонизм отличается от

европейского тем, что он героический. Иным он быть не может: обстановка такова, что она требует от советского человека не какого-нибудь, а именно героического служения, и это требование находит в его сердце горячий отклик. Это — высокий залог прекрасного будущего. Но залог может и обмануть.

Как бы то ни было, опасность коллективного эвдемонизма, пусть в самой благородной и возвышенной форме, подстерегает советского человека. Эта опасность — наследие коммунизма, и она тем более сильна, что ее связь с коммунизмом советский человек в состоянии установить далеко не всегда, скорее в порядке исключения.

Мещанство Запада вызывает у советского человека крайнее отталкивание, часто возмущение. Но за своим возмущением он обычно не видит, что это столь им презираемое мещанство его подстерегает, что он не какую-либо лазейку ему открыл, а настежь распахнул перед ним двери своей души, а двери эти — его героический эвдемонизм, его вера, что комфорт и материальное благополучие это и есть человеческое достоинство.

Было бы праздным занятием гадать о дальнейших судьбах советского человека. Может быть, он сумеет определить свой идеал, как служение высшим ценностям. Это не значит, конечно, что Россия превратится в орден подвижников. Но культурно-историческое творчество русского народа приобретет резко отличительные черты, если этот идеал будет принят народом в сердце. И тогда нашему народу предстоят великие культурные свершения. Но может быть дальше коллективного эвдемонизма народ наш не пойдет. И тогда Россия окажется восточным вариантом любого из европейских государств и культурный потолок ее можно ощупать уже теперь. Тогда символом новой России можно считать реконструированную большевиками Москву, которую они обудапештили и обукарештили и тем нало-

жили на нее печать раньше несвойственного ей провинциализма.

Так обстоит дело с русским национальным идеалом. Огромный вопросительный знак, гигантское «может быть» покрывает собой русское будущее.

Оскорбленный в самой основе своего человеческого достоинства, травмированный страхом и бессмысленностью своего существования, на все и на всех обиженный советский человек до сих пор ждал преодоления сталинщины от государственной власти.

Это ожидание оказалось напрасным. И зто кладет судьбу страны и народа в руки героического меньшинства, принявшего ныне на свои плечи борьбу за права и свободу. Ибо на него ложится не только политическое, но и духовное водительство.

Нелепо мечтать о всеобщем покаянии в грехах, которых, увы, очень много на душе советского народа. Нелепо мечтать и о внезапном его преображении или о появлении вождей, способных безошибочно вести его по пути духовного обновления. Строй активной несвободы должен быть преодолен самим народом, мышление должно перестать быть стратегическим, болезненные комплексы и травмы должны быть изжиты, благие влечения и инстинкты должны снова подняться в ранг нравственного долга. Ибо источником достойной жизни является не столько свобода и не столько мудрость государственного руководства, сколько, прежде всего, любовь и солидарность людей между собой.

Самой большой и самой ответственной в дальнейшей судьбе русского народа будет не роль государства, а роль носителей свободы духа вообще и роль русского христианства, в частности. И если эти силы не справятся со своей задачей... но — *да не будет сего!*

# ОГЛАВЛЕНИЕ

*Из предисловия к первому изданию* 5
*Предисловие ко второму изданию* 7
*Введение* 9

*Часть первая. Сталинские мифы и фикции*

Глава 1. Установление большевистской догматики 25
Глава 2. Культ мифов и фикций 37
Глава 3. Диалектика сталинского фикционализма 46
Глава 4. Слово и дело в сталинизме 55
Глава 5. Система сталинских мифов и фикций 67

*Часть вторая. Советский язык*

Глава 1. Сталинский фикционализм и русский язык 105
Глава 2. Партийное переосмысление понятий 122

*Часть третья. Нравственный облик сталинизма*

Глава 1. Этика коммунистической идеи 141
Глава 2. Этика сталинизма 156
Глава 3. Моральная практика сталинизма 164

*Часть четвертая. Советский человек*

Глава 1. Сознание советского человека 183
Глава 2. Мышление советского человека 199
Глава 3. Тайный ярус души советского человека 215
Глава 4. Нравственный облик советского человека 223
Глава 5. Возможно ли духовное возрождение России? 244